

5

Русская речь

1978



Русская речь

*Научно-популярный журнал
Института русского языка Академии наук СССР
Основан в 1967 году. Выходит 6 раз в год
Издательство «Наука», Москва*

№ 5, 1978, сентябрь — октябрь

В номере:

В. А. Ковалев. Первая статья В. И. Ленина о Льве Толстом	3
---	---

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. М. Тамахин. Поэтика шолоховского слова в «Ти- хом Доне»	9
Ф. Г. Бирюков. Советская проза 30-х годов	13
А. Н. Кожин. Емкость толстовского слова	23
Л. В. Бублейник. Синонимы в поэзии С. Есенина	28

В творческой лаборатории писателя

К. С. Горбачевич. Из «тайной канцелярии» А. П. Чехова	35
---	----

Лингвостилистический анализ

А. Д. Жижина. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Три пальмы»	41
--	----

В. П. Даниленко. О языке научной прозы	46
--	----

ЛЕКСИКА, СТИЛИСТИКА, ГРАММАТИКА

В. Н. Прохорова. Блаженный: счастливый или глупый?	51
В. А. Филатов. Слова диалектного происхождения	56
Е. Н. Прокопович. Формы будущего простого в речи	63
А. Г. Щепин. О лексической контаминации	66
Л. Н. Крыжановский. Слова-«гибриды»	70

КУЛЬТУРА РЕЧИ

В. В. Лопатин. Прилагательные от собственных имен	72
С. И. Виноградов. Отвечает «Служба языка»	76

В. Ф. Иванова. Декрету о реформе орфографии — 60 лет	79
--	----

ШКОЛА

Е. И. Хан. Стилистическая палитра Н. М. Языкова	85
А. Т. Кондратьев. Выдающийся математик о языке	92

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

С. И. Виноградов, С. В. Редькин. Конституция	97
Л. О. Варик. Сад	103
Е. Н. Этерлей. «С цветущих <i>лип</i> знакомый аромат...»	108
Е. П. Ходакова. Почта	112

ДРЕВНЯЯ КУЛЬТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ

А. М. Молдован. Древнерусский писатель Иларион	116
А. Н. Мирославская. Словесный портрет в Древней Руси	120
М. Н. Преображенская. Литературный памятник героям XVII века	125

Л. П. Жуковская. Ученый, исследователь, пропагандист	132
--	-----

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В. С. Лизунов. В интересах сотрудничества и добрососедства	135
--	-----

СРЕДИ КНИГ

С. Е. Морозова. М. Г. Булахов. Восточнославянские языковеды	139
А. В. Сусллова, А. В. Суперанская. Выбор имени новорожденному	140

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Е. В. Моськина. Как называют ткани	148
--	-----

В. А. Никонов. Из словаря русских фамилий (продолжение)	151
---	-----

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

« <i>Пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча</i> »; «Кто старое помянет, тому глаз вон»; Валенки	154
---	-----

На обложке: Осень.
Рисунок Б. Захарова

Первая статья В. И. Ленина о Льве Толстом

Исполнилось 70 лет со дня выхода в свет ленинской статьи «Лев Толстой, как зеркало русской революции», написанной в связи с 80-летием великого русского писателя и впервые опубликованной 11 (24 сентября) 1908 года в нелегальной большевистской газете «Пролетарий». Эта статья, подобно многим ленинским публицистическим работам, начинается с постановки проблемы — Толстой и русская революция. Именно она станет главной темой всех ленинских статей о Толстом, основой ленинской концепции мировоззрения и творчества писателя.

До статей В. И. Ленина было неясно место Толстого в историческом процессе: не реакционер, но и не либерал, не революционный демократ, но и не народник; Толстой оставался явлением индивидуальным и потому непонятным или понятным только с психологической точки зрения — как отдельно взятый гениальный человек. В. И. Ленин преодолел это, показав в рассматриваемой статье, что «Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 17, с. 210. В дальнейшем все ссылки даются по изданию: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5 изд. В скобках указываются том и страница).

Сопоставление Льва Толстого и русской революции, в которой он не принял участия, было ново и необычно, могло показаться парадоксальным: известно, что Толстой явно не понял революции, явно от нее отстранился. «Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно?» — ставит вопрос В. И. Ленин и, отвечая на него, напоминает: «...наша революция — явление

чрезвычайно сложное; среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий» (Т. 17, с. 206).

Одной из движущих сил первой русской революции в России было крестьянство. В. И. Ленин доказал, что по своему характеру и задачам русская революция 1905—1907 годов была крестьянской, буржуазно-демократической. В статье «Л. Н. Толстой» Ленин так определяет ее важнейшую особенность: «Одна из главных отличительных черт нашей революции состоит в том, что это была *крестьянская* буржуазная революция в эпоху очень высокого развития капитализма во всем мире и сравнительно высокого в России» (Т. 20, с. 20).

По мысли Ленина, именно с крестьянством как с одной из движущих сил первой русской революции был связан Толстой как мыслитель и художник. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» дана такая оценка мировоззрения Льва Толстого: «...совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции» (Т. 17, с. 210).

Историческая деятельность крестьянства в первой русской революции была противоречива. В рассматриваемой статье В. И. Ленин характеризует эту противоречивость: «С одной стороны, — пишет он, — века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян, — это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стрем-

лению, чем отвлеченному „христианскому анархизму“, как оценивают иногда „систему“ его взглядов» (Т. 17. с. 210—211).

Но историческая деятельность этим не исчерпывалась: «С другой стороны,— продолжает Ленин,— крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе» (там же).

Та же противоречивость, указывает В. И. Ленин, наблюдается в поведении солдат — крестьян, переодетых в шинели. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» сказано: «Солдат был полон сочувствия крестьянскому делу; его глаза загорались при одном упоминании о земле. Не раз власть переходила в войсках в руки солдатской массы,— но решительного использования этой власти почти не было; солдаты колебались; через пару дней, иногда через несколько часов, убив какого-нибудь ненавистного начальника, они освобождали из-под ареста остальных, вступали в переговоры с властью и затем становились под расстрел, ложились под розги, впрягались снова в ярмо — совсем в духе Льва Николаевича Толстого!» (Т. 17, с. 212).

Противоречивость исторической деятельности крестьянства нашла свое отражение в мировоззрении Льва Толстого — его идеолога. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» В. И. Ленин пишет: «Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие» (Т. 17, с. 209). После этой энергичной вступительной фразы следуют гениальные ленинские антитезы, характеризующие сильные и слабые стороны мировоззрения великого писателя. В этих антитезах существенны словосочетания «с одной стороны» и «с другой стороны». Первые из них характеризуют сильные, а вторые — слабые стороны мировоззрения и творчества писателя.

Напомним эти ленинские антитезы, характеризующие «кричащие противоречия» Льва Толстого: «С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения

мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, „толстовец“, т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: „я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками“. С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, — юродивая проповедь „непротивления злу“ насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины» (Т. 17, с. 209—210).

Рассматривая позднее творчество Льва Толстого, нельзя не видеть этих «кричащих противоречий». Разоблачительная и непротивленческая тенденции в произведениях великого писателя противостоят друг другу.

Скажем, в романе «Воскресение» разоблачение «комедии суда и государственного управления» соседствуют с утверждением непротивленческих начал (финал романа, где Нехлюдов восторженно читает евангелие).

В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин называет Толстого «гениальным художником, давшим не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы» (Т. 17, с. 209). Статьи Ленина о Толстом содержат суждения о том, в чем заключается своеобразие этого художника, каковы отличительные признаки его реализма. С этой точки зрения ленинские высказывания — ключ не только к мировоззрению великого писателя, но и к его поэтике.

Глубокие и четкие ленинские формулировки помогают литературоведам найти верные пути изучения метода и стиля Льва Толстого, осветить своеобразие его реализма.

В эпоху Толстого, когда в реальной жизни преобладали отрицательные явления, отражать жизненную правду означало прежде всего обличать, выражаясь ленинскими словами, «общественную ложь и фальшь». Во второй половине XIX века, когда прогрессивные силы русского общества были направлены на борьбу с самодержавием, остатками крепостничества, растущим капитализмом, реализм Толстого, с его проникновением в самую сущность изображаемого, не мог не стать критическим. И не случайно Ленин ставит рядом такие выражения: «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок».

Конечно, обличение отрицательных явлений русской общественной жизни характерно не для одного Толстого, оно присуще всем прогрессивным русским писателям, начиная от Радищева и кончая Чеховым. Поэтому Ленин пишет: «Критика Толстого не нова. Он не сказал ничего такого, что не было бы задолго до него сказано и в европейской и в русской литературе теми, кто стоял на стороне трудящихся» (Л. Н. Толстой и современное рабочее движение).

Новым, однако, был метод обличения, введенный Толстым. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин назвал этот метод «срыванием всех и всяческих масок», глубоко и точно определив основную особенность толстовского обличения.

Толстой увидел, что недостатки общественной жизни, пороки людей почти никогда не проявляются открыто; в реальной жизни они замаскированы, имеют видимость явлений положительных и даже прекрасных. Поэтому, разоблачая то или иное отрицательное явление, Толстой изображает его и таким, каким оно кажется в обычном, общепринятом представлении, и таким, каким оказывается на самом деле, каким оно предстает взору трезвого наблюдателя. Маске явления противостоит его сущность.

Основываясь на ленинских положениях, В. В. Виноградов пишет о стиле толстовского обличения: «Словам-маскам, фразам идеологически противостоят слова как непосредственные, простые и правдивые отражения жизни

во всей ее неприкрашенной нагоде и противоречащей простоте и сложности» («Литературное наследство», №№ 35—36, М., 1939, с. 162).

Именно так описано в романе «Воскресение» богослужение в тюремной церкви. «Сущность богослужения,— сказано в романе,— состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдом и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью».

Обличая церковь, Толстой подчеркивает, что внешняя видимость богослужения противопоставлена его внутренней сущности: предполагается нечто таинственное и даже священное — на самом деле все обыкновенно, просто и буднично. Стилистически это выражается в резком снижении условно возвышенной лексики: не риза, а «парчовый мешок», не дискос, а «блюде», не антиминс, а «салфетка», не потír, а «чаша», не престол, а просто «стол».

Итак, ленинские слова «срывание всех и всяческих масок» точно и глубоко характеризуют не только общую направленность реализма Льва Толстого, но и стиль толстовского обличения.

Таким образом, рассматривая произведения Льва Толстого, В. И. Ленин находит такие формулировки, которые исключительно глубоко и точно характеризуют не только проблематику, но и поэтику толстовского творчества.

Первая статья В. И. Ленина о Л. Н. Толстом «Лев Толстой, как зеркало русской революции» уже содержала важнейшие положения ленинской концепции мировоззрения и творчества великого писателя. В этом ее непреходящая ценность.

В. А. КОВАЛЕВ



ПОЭТИКА ШОЛОХОВ- СКОГО СЛОВА В «ТИХОМ ДОНЕ»

50 лет неисчислимые читатели «Тихого Дона» радуются и страдают вместе с его героями, забывая о том, что перед ними литературное произведение. Их впечатления хорошо передал поэт Кайсын Кулиев: «Такие книги, как „Тихий Дон“, остаются навеки. Они остаются потому, что остается жизнь, потому, что вечно будут жить люди с их борьбой и страстями, страданиями и победами, так верно и мощно выраженными могучим художником слова».

М. А. Шолохов с изумительной щедростью развернул перед нами несметные богатства русского языка, проявив удивительное дарование повернуть слово так, чтобы оно засияло новыми, необычными красками, приобрело более глубокий смысл.

В эпопее «Тихий Дон» арсенал художественных открытий в области изобразительно-выразительных свойств слова поистине необъятен. Возьмем, например, одну из распространенных форм повествования — несобственно-прямую речь, с помощью которой автор-повествователь оценивает предметы и явления общественной жизни как бы глазами своих героев, живет их ощущениями и понятиями, а потому нередко и говорит их языком. Благодаря такому стилистическому приему Шолохов изображает социальную среду более достоверно.

Вот как, например, ведется повествование от автора о сложившейся отчужденности между жителями хутора Татарского и Прокофием Мелеховым, женившимся вопреки казачьим нравам не на казачке, а на турчанке, и по этой причине вскоре же отделенным оскорбленным отцом на окраину хутора: «С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на *майдане*. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажниц, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому кам-

ню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот... Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию *последняя из никудышных...*». (Здесь и далее курсив мой.— В. Т.)

В приведенном отрывке — органический сплав литературного языка и донского говора («С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на *майдане*». И тут же: «*Гутарили* про него по хутору *чудное*» и т. д.). Слияние двух языковых стихий значительно расширяет идейно-художественную функцию речи повествователя. Во-первых, в ней мы свободно отличаем голос автора, его несомненно литературный язык, выражающий нарастание драматической ситуации между Прокофием Мелеховым и хутором: «Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями поздраватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь». В этом сложном предложении, как видим, нет ни одного диалектизма, ни одного просторечного слова.

Когда же в авторский текст включаются диалектизмы, то в этом случае в повествовании наряду с голосом автора слышатся голоса хуторской молвы. Так, например, если говорится о том, что Прокофий Мелехов не бывал *на майдане* (на площади казачьих сходок) и что живет он *на отшибе бирюком* (в отдалении от людей, как волк-одиночка), то по лексическому составу фразы отчетливо улавливается молва мужской половины хутора. Когда же упоминаются хуторские ребятишки, видевшие, как Прокофий «на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана», то диалектизм *ажник* (в данном контексте — достижение самой отдаленной точки расстояния) и инверсионная структура фразы указывают на отголосок детских рассказов о странностях казака-отшельника, каким он представлялся татарцам.

Разноречив отзвук хуторской молвы о турчанке в среде казачек: то «красоты она досель невиданной», то «последняя из никудышных». Благодаря такому приему возникает полифоническое звучание повествования в «Тихом Доне», способствующее более емкому изображению. Тот же прием служит непосредственному и более углубленному психологическому анализу собирательного образа: «Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда бы-

ло». Как видно, больше всех были взволнованы этим событием женщины. Но речь идет не только о недоумении или изумлении, а и о растущей настороженности, переходящей в страх, о чем можно заключить даже по одной фразе: только «самая отчаянная из баб, жалмерка [солдатка] Мавра» решилась сбегать к Прокофью, чтобы разглядеть турчанку. Значит, не каждая казачка способна была на такой шаг. Это психологическое состояние женщин уточняется далее в авторской ремарке, когда в ответ на сообщение Мавры о том, что турчанка ходит... в «прокофьевых шароварах», — «ахали бабы испуганно и дружно». Страх перед всем чужим, неизвестным подогревался суеверием. Отсюда и «прополз по проулкам и улицам черный слухок... Шепотом гутарили по хутору, что прокофьева жена *ведьмячит*». Здесь также наряду с авторской речью улавливаются голоса хуторской молвы в непосредственном звучании. Благодаря этому собирательный образ хутора с его нравами раскрывается как бы в двух планах — в прямой авторской характеристике («... прополз по проулкам и улицам черный слухок») и одновременно в самовыявлении («Шепотом гутарили по хутору, что прокофьева жена *ведьмячит*»).

В авторской речи те или иные события повседневной жизни, быта, труда, природных явлений воспроизводятся также через восприятие и оценку не только автора, но и героев произведения: «Зима легла не сразу. *После покровы* стаял выпавший снег, и *табуны снова выгнали на подножный*. С неделку *тянул* южный ветер, тепло, *отходила* земля, ярко доцветала в степи поздняя *мшистая зеленка*.

Ростепель держалась до *михайлова* дня, потом *даванул* мороз, *вывалил* снег; день ото дня холод крепчал, *подпало* еще на *четверть* снегу, и на опустевших обдонских огородах, через *занесенные по маковки* плетни, *девичьей прошивной* мережкой легли *петлистые* стежки заячьих следов. Улицы обезлюдели».

Словосочетания из разговорной речи *даванул мороз, вывалил снег, подпало еще на четверть снегу, отходила земля, занесенные по маковки плетни* и другие — свидетельство того, что смена картин природы дана через восприятие и оценку трудового казачества.

В приведенном отрывке примечательно, например, сравнение петлистых стежек заячьих следов на снегу с девичьей прошивной мережкой. Эпитеты, сравнения, метафоры Шолохов берет из быта казачества и создается впечатление, что на предмет вместе с повествователем смотрит и персонаж. Писатель раскрывает способность своих героев к образному восприятию обычных будничных предметов и явлений. Так, небо у Шолохова — «... *звездное просо*»; «землю уже *засевали первые зерна* *дождя*»; «Дремотно вызванивал

по брезентовой крыше будки *сеяный на сито дождь*; «Где-то под курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная *пастбищная синь*»; «Григорий прилег на просторной, *духовитой земле*»; «...засматривало с юга в комнату *желтое, как цветок подсолнуха, солнце*»; «...а вербы, опущенные цветом — *девичьими сережками*, пышно вздымались над водой, как *легчайшие диковинные зеленые облака*» и многие другие. Извечная трудовая связь земледельца с землей и природой служит ему и источником эстетического наслаждения. Для Григория Мелехова не просто была земля, на которой он лежал, а *духовитая земля*. Солнце ассоциируется с *цветком подсолнуха*, скромные цветы вербы — с *девичьими сережками*.

Поэтическая образность определила одну из характерных особенностей стиля писателя — его неповторимую речевую индивидуальность. Вот, например, каким предстал в восприятии Григория Мелехова одетый инеем лес: «...бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в *нарядной серебряной шлее*». Такое сравнение могло возникнуть только в сфере казачьего быта, так как конь для казака — верный помощник в труде и воинских походах, а праздничное снаряжение его — серебряная шлея — составляло гордость и честь казака, рождало отрадное чувство.

Отсюда становится понятным, почему зимнее убранство леса у Григория ассоциировалось с красивой серебряной шлеей. Однако рассмотренное сравнение служит не только средством более яркой выразительности одного из качеств предмета, но выполняет дополнительную идейно-художественную функцию. Ведь красивый пышный убор леса в воспоминаниях Григория вызывает тотчас же другой, милый его сердцу образ, — «влажный горячий блеск черных, из-под пухового платка, аксиньных глаз»... Картина чарующей природы и портрет любимой женщины, взаимно озаряющие друг друга, создают образное единство и служат выражением чувства прекрасного, наполнившего внутренний мир Григория.

Герои Шолохова образно воспринимают не только положительные, но и отрицательные явления в жизни. Михаила Кошевого и Валета «каждый *звяк колокола хлестал... кнутовым ударом*». Как видим, им слышался не звон колокола, а *звяк* (бренчащий звук), ассоциировавшийся с ударом кнута, так как набатный гул собора извещал о мобилизации в белую армию, воевать в рядах которой не хотели и не могли большевистски настроенные герои.

Творчески используя лексические и фразеологические богатства народного разговорного языка, в частности, донского говора, Шолохов продолжает и углубляет одну из важнейших традиций русской классики — демократизацию литературного языка, открывает ранее неизведанные выразительные свойства слова.

В. М. ТАМАХИН



В «Русской речи» в № 6 за 1977 год была напечатана статья Ф. Г. Бирюкова «Советская проза 20-х годов». Продолжая эту тему, мы предлагаем вниманию читателей статью того же автора «Советская проза 30-х годов».

СОВЕТСКАЯ ПРОЗА 30-х годов

Тридцатые годы вошли в историю нашей страны и остались в памяти старшего поколения как годы трудового энтузиазма, созидания, творческого размаха научной мысли, расцвета искусства социалистического реализма, «реконструкции человеческих чувств», как выразились в то время поэты. Это время имело свои лозунги, которые не утратили боевой, мобилизующей силы и теперь: Темпы!,

Встречный!, Пятилетку — в четыре!, Лицом к производству!, Ударный труд!, Дорогу — стахановскому движению!, За генеральную линию партии!, Труд — дело чести и славы!

Родина становилась страной современной индустрии, земледелия, передовой науки и техники.

Поэзия творческого труда — ведущая тема литературы тридцатых годов. Великолепно передал Б. Корнилов то возвышенное настроение, которое создавалось кипучей созидательной работой, утренними заводскими гудками, торжественно встающим солнцем трудового дня.

Страна встает со славою
На встречу дня.
Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь пополам.

Песня о встречном

Тем же настроением проникнута и проза этих лет. «Время, вперед!» — так названа книга В. Катаева. Люди трудились, «не переводя дыхания» — свидетельствует И. Эренбург. Всем движет человеческая «энергия», извлекающая «энергию» из нетронутой мощи природы, — об этом с романтическим пафосом пишет Ф. Гладков в романе о Днепрострое.

Глубоким плугом перепахивалась вековая целина крестьянской жизни. Этот сложнейший процесс приобщения миллионов тружеников деревни к социалистическому укладу жизни запечатлели в своих произведениях М. Шолохов, Ф. Панферов, И. Шухов, В. Ставский, П. Замойский, Е. Пермитин. Литературным шедевром, воплотившим эту тему, стала «Поднятая целина».

Роман Л. Леонова «Соть» по праву принадлежит к первым и лучшим произведениям первой пятилетки. В нем автор рассказал о том, как строители победили стихию природы и стихию человеческих чувств, принесли с собой в таежный мрак индустриальное начало, новую культуру.

Писатели в своих произведениях хотели показать всю страну, где на месте недавних окопов грохотали экскаваторы, горели огни новостроек. Так, у М. Шагинян рассказывается о Джорджетской электростанции в Армении (Гидроцентральный), у П. Павленко — о Туркмении (Пустыня), у Р. Паустовского — о Кара-Бугазском заливе (Кара-Бугаз), у Ф. Панферова — о волжской деревне (Бруски), у

И. Шухова — о Казахстане (Ненависть), у Ю. Крымова — о Каспии (Танкер «Дербент»), у А. Малышкина — о Магнитогорске (Люди из захолустья).

В это же время большую популярность приобрела очерковая литература. А. М. Горький писал: «Широкий поток очерков — явление, какого еще не было в нашей литературе. Никогда и нигде важнейшее дело познания своей страны не развивалось так быстро и в такой удачной форме, как это совершается у нас. «Очеркисты» рассказывают многомиллионному читателю обо всем, что создается его энергией на всем огромном пространстве Союза Советов, на всех точках приложения творческой энергии рабочего класса» (По Советскому Союзу).

Таковыми стали сборники «Люди Сталинградского тракторного», «Были горы Высокой», «Рассказы строителей метро», «Большой конвейер» Я. Ильина, очерки В. Ставского и другие. Значение очерка, главным образом, — в обилии фактического материала, в оперативной информации. Но «очерковость» в смысле подлинности описываемых событий, обстановки, лиц входила во многие произведения крупного плана, становилась стилевой особенностью повестей и романов. Таковы, например, «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» А. Макаренко, «Как закалялась сталь» Н. Островского, где по существу продолжалась линия, которая шла от «Железного потока», книг Д. Фурманова и становилась плодотворной традицией.



В прозе тридцатых годов исследователи особо выделяют «роман о воспитании». Сюда относят произведения А. Макаренко, Н. Островского, «Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Два капитана» В. Каверина, «Я люблю» А. Авдеенко, «Мужество» В. Кетлинской, «Люди из захолустья» А. Малышкина. Термин «роман о воспитании» вряд ли удачен, потому что воспитательная функция — общее свойство литературы социалистического реализма. Можно лишь согласиться с тем, что в этих романах действительно представлена прежде всего молодежь разных поколений, становление характеров, воспитатели, школа. Но при всем этом значение, например, «Педагогической поэмы» А. Макаренко, несомненно, много шире, чем следует из самого названия. Это — выдающийся документ эпохи, по которому можно судить о том, насколько трудно было советско-

му народу строить новую жизнь в условиях разрухи, оставленной первой мировой войной, интервенцией. Художественная сила «Педагогической поэмы» — в неотразимой правде факта, идее человеколюбия, альтруизма в отношении к тем, кого надо было спасти ради будущего страны, поставить на ноги, сделать людьми.

«Как закалялась сталь» Н. Островского — книга исключительной судьбы. Это — страстная исповедь преданного сына Родины, рядового бойца, человека героической биографии, кристальной нравственной чистоты, пробуждающая стремление к действию, гражданскому подвигу. У книги многие миллионы читателей в нашей стране и за рубежом. В ней — отражение полыхающих дней революции, мужества народа, его тернистого пути, который был неизбежен, ибо — как точно сказал В. Маяковский — «велели нам идти под красный стяг года труда и дни недоеданий».

В тридцатые годы тема Октября и гражданской войны по-прежнему остается могучим источником вдохновения для всего нашего искусства — и в силу той исключительной значимости, которую имеет это поворотное событие в мировой истории, и по яркости примера народного героизма, вдохновляющего на новые подвиги. Эта тема отражена в книгах о героизме Советской Армии — «Пархоменко» Вс. Иванова, «Кочубей» А. Первенцева, а также в «Капитальном ремонте» Л. Соболева.

Революция пробудила интерес к прошлому нашего государства, народным движениям, революционным выступлениям, судьбам деятелей культуры.

В 30-е годы были созданы такие исторические произведения, как «Петр I» А. Толстого, «Гулящие люди» А. Чапыгина, «Емельян Пугачев» В. Шिशкова, «Гуляй Волга» А. Веселого, «Радищев» О. Форш, «Пушкин» Ю. Тынянова, «Повесть о Болотникове» Г. Шторма.

Особой художественной яркостью выделяется среди них роман «Петр I». Писатель сумел приблизить к современному читателю далекую и очень противоречивую эпоху, заснять ее крупным планом. Фигуры — будто скульптурные изваяния. В романе полностью отсутствуют стилизация, декоративность, увлечение архаикой. А. Толстой дал образец неувыдаемого по силе и красоте народного слова, запечатлевшего всю гамму чувств и настроений народа — восторг и проклятия, радость и слезы, нежность и презрение, патетику и юмор. Вслед за А. Чапыгиным,

О. Форш и другими он проложил дорогу реалистическому историческому роману нашего века.

Большое значение имели книги, в которых живое представление о ратном подвиге наших предков, отражавших натиск захватчиков, наполняло патриотической гордостью советских людей, воодушевляло их в битве с фашизмом.

Пользуясь популярностью роман А. Новикова-Прибоя «Цусима». Автор, участник дальневосточной трагедии 1904 года, представил материал, обличающий царизм, преступность и бездарность командования, губившего верных сынов нашей Родины.

Значительным явлением в литературе стала эпопея «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского — о трагической ситуации середины прошлого века — поражении русской армии в Крыму.

В целом для литературы тридцатых годов характерна глубина тем, их разнообразие, оригинальность писательских решений актуальных проблем, новые стилевые открытия. Достаточно в качестве примера привести романы Л. Леонова «Скутаревский», «Дорога на океан», К. Федина «Похищение Европы», «Журавлиную родину» и «Женьшень» М. Пришвина, «Малахитовую шкатулку» П. Бажова, сатирическое произведение И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». Еще раз доказали свои исключительные художественные возможности роман, эпопея, которые стали ведущими жанрами в прозе тех лет. Огромные художественные полотна — «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого — отличают глубокая народность и историзм, синтетическая образность, мощные средства языка.

Успехи советской литературы объяснялись не только тем, что сама действительность, насыщенная героикой труда и борьбы, давала необычайный материал для художника, не только личной одаренностью плеяды мастеров, вышедших из самого народа. Много значило соответствие литературной практики теоретическим установкам социалистического реализма, который к тридцатым годам окончательно определился как метод советского искусства. Он требовал «правдивого, исторического конкретного изображения действительности в ее революционном развитии», «идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».

Социалистический реализм ничего общего не имеет с модернизмом, формализмом, «чистым искусством», «самовыражением» влюбленных в себя индивидуалистов, натурализмом. Исключительное значение имело постановление о ликвидации РАППа. Оно было встречено всеми видными мастерами слова с отрядным чувством.

Первый съезд писателей (1934) объединил литературные силы страны на основе общей идейной платформы, творческого метода.

Велика была организаторская роль А. М. Горького. Его радовало обилие талантов. И он делал все необходимое, чтобы сплотить литераторов, передать свой опыт, учил ответственно относиться к писательскому долгу. Уроки Горького — великая школа художественного слова, через которую прошли многие прозаики, поэты, драматурги.



В тридцатые годы состоялись содержательные теоретические дискуссии. Взять хотя бы дискуссию о языке. Спор касался качества литературы, критерия художественности, словесной техники, которая в ряде случаев не соответствовала большой теме, авторскому замыслу. В конечном итоге, речь шла о том, при каких условиях писатель может выполнить возложенную на него миссию, а литература достигнет уровня классических образцов.

Так, читая «Бруски» (1933), Горький отмечает фразы: «А поутру стучала Катя в пустой печи ухватом, будто в огромном пересохшем рте»; «То горы толстопозой пшеницы навалены у избы, то прямо пирогами обложен весь двор»; «Егор Степанович смахнул картуз, вновь сунул его на голову, встал в воротах. Левая бровь задергалась хвостом недобитой рыбы». Пример фонетической глухоты: «Бились долго, шопотом ползло зло по избе». В ряде мест Горький замечает на полях: «Чепуха», когда находит явную выдумку.

В романе одного автора он обращает внимание на «красивые» места: «Коридоры рудоуправления промывались сквозняком людского гомона. Из дальних комнат обстреливали охотничьим бекасинником „Ундервуды“»; «Борода пламенела недоуменной, волнующей чернотой»; «И слышно было, как шваркались его ноги по незаметным, глухим лужам, потом звонко ляскались кованые каб-

луки о попавшиеся камни»; «На голове, если глянуть спереди, топырился зверски изломанный, как градобойный ячмень, чуб — цвета грозových туч»; «Пули, вскрикивая, как от ожога, поднимают бурую пыль...»; «Дверь осторожно отвернулась, вышел с фонарем булочник»; «Сверху замжало мутным и холодным душем».

В романе Ф. Гладкова «Энергия» (1933) тоже есть «красоты» стиля: «Викентий Михайлович вставал по утрам ровно в шесть часов. Еще не открывая глаз, он уже чувствовал всем телом кубическую огранку своей комнаты. Вещи быстро занимали свои места в неподвижной готовности служить ему. Широкий дубовый стол в простенке между саженными окнами пламенел жаром на солнце; полированная поверхность дымилась металлическим накалом... Книжный шкаф из золотого дуба улыбался важно и гордо».

Вся эта «шикарность», «пышность», перенапряженность тона, да еще в сочетании с натуралистической грубостью в диалогах, уродовала стиль.

Нечего уже говорить о словесных фокусах А. Белого, особенно в романе «Маски» (1932), где идет такой набор фраз: «Трески трестов о тресты под панцырем цифр: мир растрещина фронта, где армии — черни железного шлема — ор мора: в рой хлора» и т. д.

Всеволод Иванов рассказывал, как литераторы сбивались на этот путь искусственного конструирования стиля:

«Много лет назад я написал повесть „Цветные ветра“. Я тогда находился под влиянием „орнаментализма“ формалистской школы. Тех слов, которые я знал, показалось мне мало. Я прибавил к ним еще две тысячи или более слов, добытых из словарей, заучил их — бухнул в книгу. Возможно, что их вошло туда не две тысячи, а пятьсот или триста, но как бы то ни было, А. Белый, встретив меня, спросил: „Откуда вы взяли такой прекрасный провинциальный язык?“. И с присущей ему склонностью отвечать самому, чем слушать других, сказал: „А я вот выпишу слова, положу их перед собой на стол и крапливаю“.

Наверное, он шутил. Но всегда после этого разговора мне казались слова его книг случайными, неорганичными, пустыми.

Наша литературная молодость была не легка... Обвалом к нашим неискушенным взорам катилась „заумь“

В. Хлебникова, А. Белого, Н. Клюева, А. Крученых и т. п. Нужно помнить, что мы приехали из провинции, что нам хотелось сочетать нашу провинциальность со столичностью, т. е. щегольнуть, ловко загнуть, ударить где-то сбоку, чтоб „глаза на лоб“» (Вс. Иванов. Провинциализм и столичность. «Литературная газета», 1934, 4 апреля).

Все это оправдывалось вроде бы основательными теоретическими доводами: революция создает свой язык, наше содержание требует другой формы. Ф. Гладков доказывал: «Язык классической литературы — это язык прошлых эпох. Язык наших дней иной, и он не может отказать себе в дерзости занять свое место в искусстве» (Ф. Гладков. Моя работа над «Энергией». М., 1934). Из этого следовало, что возможны в авторской речи такие «перлы»: «Даша в бровях твердо подошла к столу», люди «быковато съезживаются», «брызгают зрчками», «распыляют глаза в ресницах», «бронзовый трепет жизни», «лошади... с электрической дрожью переливались искрами». Таков, дескать, новый язык искусства. На самом же деле, новаторство здесь мнимое, обычное увлечение «сочинительством», словесными трюками.

Статьи А. М. Горького «О литературе», «О прозе», «О языке», «Литературные забавы» и другие решительно поддержали М. Шолохов, Л. Леонов, А. Толстой, Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, Б. Лавренев, Н. Островский. Они восприняли их как своевременное напоминание о том, что «мы должны добиваться от слова наибольшей активности, наибольшей силы внушения» (Горький). Л. Леонов определил выступления Горького как «призыв к мужеству», — что значило — признание слабых сторон и решимость устранить их творческим трудом. «Никакая тема не оправдывает слабой формы, — писал он. — Необходимо требовать, чтобы кроме проблемности, кроме интересной темы и увлекательного сюжета художник ставил перед собой и задачи живописного, так сказать, порядка, касающиеся непосредственно мастерства.

И вот лезет махровый натурализм, констатация фактов, любование острыми и блестящими подробностями» (Л. Леонов. Призыв к мужеству. — «Литературная газета», 1934, 16 апреля).

Самокритично выступила Л. Сейфуллина — против схематизации, парадности, за кропотливую работу сознания, умеющего схватывать все многообразие действительности, ее сложность в самых точных представлениях.

Значение дискуссии именно в том, что она многим напомнила истину: важно не только то, о чем писать, но и как писать. Если бледна форма, нет языка — образного, красочного, звучного, слаб диалог, нет своего слога — значит, нет произведения. В этом случае надо думать не о том, какую пользу оно принесет, а скорее — о мере ущерба эстетическому воспитанию.

Так шла борьба за большое искусство, смысловую наполненность и народность формы, пластичность изображения.

Также большое значение имела дискуссия о литературе «потока сознания». Некоторые видели тогда в творчестве М. Пруста, Д. Джойса, Дос-Пассоса чуть ли не вершину мастерства. Заблуждался, например, В. Вишневский, когда выступил со статьей «Что хорошо у Дос-Пассоса?» («Знамя», 1933, № 3). Эти ошибки убедительно разъяснил тогда А. Фадеев. В статье «Поменьше литературщины» («Знамя», 1933, № 5) он писал: «При наличии той исторической вышки, на которой мы стоим, при том, что нам нужно изменить мир, как бы заново его воссоздать, — мы ищем больших синтетических форм. Мало разложить на части, — нужно взять их в целом. Отсюда требование типов, характеров, монументальности формы, и с этой точки зрения, с точки зрения передового класса, с точки зрения того, что нужно пролетариату, многомиллионным массам, Дос-Пассос — отсталый художник. Это не значит, что мы сами этой формой овладели, монументальную форму мы еще ищем, но в этом мы ушли вперед от Дос-Пассоса, и не случайно, что в своей учебе мы обращаемся к нашим литературным дедам...» — то есть к классическому наследию.

Плодотворной была и критика вульгарного социологизма в литературной теории, сводившего смысл творчества писателей прошлого к их классовой родословной. В передовой статье «Правды» от 8 августа 1936 года говорилось: «Великие художники прошлого принадлежат трудовому народу, унаследовавшему все культурные ценности предыдущих классов, и не в наших интересах держать эти ценности под спудом, распылять их и превращать в историческую ветошь, как пытаются это сделать вульгарные социологи. Великие художники живы для нас. Их труды не пропали даром: лучшие их произведения будили умы и помогли народу двигаться вперед и тем самым найти путь к освобождению... Между тем, вульгарные со-

циологи, извращенно толкующие произведения классиков, отбивают охоту... изучать классическую литературу... Естественно, что безапелляционная наклейка вроде: «дворянский поэт», «барская пьеса» и т. п. не может вызывать... особой симпатии к произведениям классиков».

Критика вульгарного социологизма еще раз напоминала о ленинском отношении к классическому наследству и значении опыта классиков для советской литературы.

Надо отметить высокую духовную атмосферу, которую создавали широко отмеченные юбилеи — столетие со дня рождения Н. А. Добролюбова, столетие со дня смерти А. С. Пушкина, 125-летие со дня рождения Т. Г. Шевченко, М. Ю. Лермонтова, 750-летие «Слова о полку Игореве», «Витязя в тигровой шкуре», 1000-летие «Давида Сасунского», столетие со дня рождения А. Р. Церетели, 75-летие А. Серафимовича.

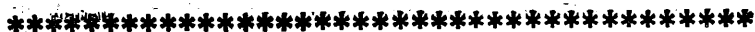
Юбилеи превращались в торжества народной любви к гениям искусства. Достаточно вспомнить, каким праздником стал пушкинский юбилей, как он отменил прочь теории вульгаризаторов, представлявших народного поэта идеологом среднепоместного дворянства, даже камер-юнкером. Шире становился взгляд на историю, специфику литературы, точнее определялись народность, реализм, художественный язык.

Творческий успех сопутствовал тем советским прозаикам, кто умел оценить эту могучую традицию. Только на этом пути возможны были и новые шедевры мирового значения — книги А. М. Горького, А. Н. Толстого, К. А. Федина, М. А. Шолохова, Л. М. Леонова.

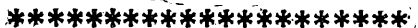
Насколько велики достижения нашей прозы этого десятилетия, несомненны ее содержательность, проблемность, эстетический уровень, — теперь доказано временем. Писатели выступили как знаменосцы идей социализма, братства народов, интернациональной дружбы. Они показали, какой надеждой для трудящихся всего мира стала наша страна, прокладывавшая путь в будущее.

Ф. БИРЮКОВ

Рисунок Б. Захарова



ЕМКОСТЬ ТОЛСТОВСКОГО СЛОВА



В бессмертных произведениях Толстого с такой достоверностью отражена жизнь человеческая, со всеми ее сложными переплетениями, малейшими движениями души и мысли, что порой невозможно отличить, где реальная действительность, а где — творение художественного гения. Толстовское слово будет поражать еще не одно поколение своей емкостью, образностью и вместе с тем удивительной простотой. «Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, — подчеркивал Л. Н. Толстой, — кроме того — и это главное, — есть лучший поэтический регулятор».

Об использовании слов обиходно-разговорной и профессионально-групповой речи в создании художественных образов и пойдет речь в этой статье. Именно таким словам оказывается предпочтение в описаниях жизни и быта русского народа, несмотря на то, что к ним нередко нет соответствующих эквивалентов в литературном языке. В романе «Война и мир» встречаем, например, описание поздней осени: «Уже были зазимки, утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю, уже зелена уклочились и ярко-зелено отделялись от полос буряющего выбитого скотом, озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречиши. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами между черными полями озимей и жнивами, стали золотистыми и ярко-красными островами посреди ярко-зеленых озимей. Русак уже до половины затёрся (перелинял), лисьи выводки начали разбредаться, и молодые волки были больше собаки. Было лучшее охотничье время» (*зазимки* — время первых заморозков, первого снега; *затереться* — покрыться новой шерстью, вылинять, в связи с наступлением холодного времени года; *зелена* — молодые ростки озимых посевов, всходы зерновых, посеянных после уборки урожая, озимь; *разбредаться* — расходиться в разные стороны, отбиваться от стаи, от логова волчицы по мере перерастания дете-

ныша в зверя; *русак* — серый заяц, даже зимой не бывающий белым, лёжки которого бывают на открытой местности и на пашне; *уклочиться* — стать кустистым, обрасти ростками развивающихся посевов озимых).

Слово, являясь средством реалистического изображения у Толстого, создает определенное представление о предмете, явлении, «кусочке» описываемой действительности. В этой связи Л. Н. Толстой отмечал: «Есть собственные имена, названия вещей, животных, лиц, которые обрисовывают быт известного круга лучше, чем описания».

Слова узкой сферы применения, скажем, охотничья лексика, используются, например, в романе «Война и мир» для изумительно верного и яркого изображения псовой охоты, для передачи страстной увлеченности ею героев романа. Вот описание подготовки охоты на волков: «Через час вся охота была у крыльца... Николай осмотрел все части охоты... Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников. Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение». Показывая эту огромную охотничью команду, автор дает конкретные указания на специализацию каждого из ее участников (*борзятник* — охотник, управляющий сворой борзых собак; *выжлятник* — охотник, ведающий гончими собаками во время псовой охоты; *доезжачий* — распорядитель псарей, старший псарь во время охоты).

Вот какая дается характеристика Николаю Ростову, умелому, страстному охотнику, при этом обнажаются мысли героя, выдаваемые автором в виде размышления вслух: «Николай Ростов между тем стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих он чувствовал, что совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; он знал, что гончие разбились на две стаи, что где-нибудь травили, что где-нибудь случилось неблагополучное». Или же изображение соответствующей реакции камердинера графа Ильи Андреича, знавшего толк в охотничьем деле: «Семен не договорил, услышав ясно раздававшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он, наклонив голову, прислушался и молча погрозился барину. — На выводок натекли... — прошептал он, — прямо на Лядовский повели».



Иллюстрация Д. А. Шмаринова к роману «Война и мир». Охота

Употребление Толстым в этой сцене охотничьих терминов дает возможность наглядно показать мастерство в исовой охоте, которым в совершенстве владеют его герои (*гон* — лай собак во время преследования зверя; *натечь* — напасть на след зверя; *повести* — погнать зверя; *травить* — о собаках, преследующих зверя).

С помощью таких слов воссоздается естественность действий и поведения участников исовой охоты. Например: «Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак, и Николай увидал красную, низкую, странную лисицу, которая, распустив трубу, торопливо неслась по зеленым. Собаки стали спеть к ней. Вот приблизившись, вот кругами стала она вилять между ними, все чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг себя пушистой трубой (хвостом)»; «Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил протоиерей, охрипший от порсканья бас»; «Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно-тонкий... слышно было, как заревели с залюлю голосом гончих, с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гона по волку» (*вилять* — кидаться из стороны в сторону, ходить кругами; *порсканье* — крики охотников, посредством которых собаки направляются на зверя; *порскать* — издавать определенные крики; *зареветь* — лаять особым образом, почуяв зверя; *улюлюкать* — криком «улюлю» натравливать собак на зверя).

Слова охотничьего обихода помогают правдиво и образно передать взбудораженно-азартное состояние охотников, переживающих то, что происходит между собаками и уходящим от них зверем: «Волк приостановил бег, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам, и, так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой и, мотнув поленом (хвостом), скрылся в опушку. В ту же минуту из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез (пробежал) волк»; «Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка, как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомойны. Волк лясул зубами (Карай уже не держал его за горло), выпрыгнул задними ногами из водомойны. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног, и надал скоку»; «Милка стала приближаться к зверю. Ближе, ближе... вот она приспела к нему, но волк чуть покосился на нее, и вместо того, чтобы наддать, как она это всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги». Или, например, изображение автором повадок зайца, пытающегося сбить с толку гончих собак: «В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зелеными и жнивьем» (*вихнуть* — вильнуть, изменить положение тела; *выкатить* — внезапно появиться, как бы выскочить) или «Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять надела красавица Ерза и над самым хвостом русака повисла, как будто примеряясь как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку» (*заложиться* — пойти бегом быстро, маписто; *отсесть* — прыгнуть вверх или в сторону, чтобы уйти от догоняющей борзой собаки).

В ряде случаев значение не понятных массовому читателю слов сопровождается развернутым комментированием, разъясняющим содержание обозначаемого: «Данила не отвечал и помигал глазами.

— Уварку посылал послушать на заре,— сказал его бас после минутного молчания,— сказывал, в отрадненский заказ перевела, там выли. (Перевела значило то, что волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в отрадненский лес, который был за две версты от дома и который был небольшое отъёмное место).

Содержание малопонятных слов часто проясняется на фоне развернутого описания, раскрывающего то, что ими обозначается; например, слова *соструним*, *отпазанчил*, *пазанка* становятся ясными из контекста: «Николай хотел колоть, но Данила прошептал: «Не надо, соструним»,— и, переменяв положение, наступил ногою на

шею волку. В пасть волку заложили палку, завязали, как бы взнуздав его сворой, связали ноги, и Данила раза — два с одного бока на другой перевалил волка»; «Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался... — Ругай, на пазанку! — говорил он, кидая отрезанную лапку с налипшей землей. — Заслужил, чистое дело марш!».

Специальные, охотничьи слова в репликах персонажей разъясняются с помощью общеупотребительных слов в авторском повествовании: «Туда и еду. Что же, свалить стаи? — спросил Николай. — Свалить...

Гончих соединили в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом». Иногда автор выступает как бы в роли переводчика, сопровождающего малопонятные слова пояснениями, заключенными в скобки: «Ростова особенно поразила своей красотой небольшая чистопсовая, узенькая, но с стальными мышцами, тоненьким щипцом (мордой) и на выкате черными глазами, красно-пегая сучка в своре Илагина. Он слышал про ревность илагинских собак и в этой красавице сучке видел соперницу своей Милке»; «Красный Любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону».

При помощи слов охотничьего обихода дается яркое представление об осведомленности героя в вопросах, о которых идет речь, — для Николая Ростова совершенно немислимо то, чтобы *выжлеца* [так называют гончего пса в среде охотников] можно было приравнять к собаке: «— Николенька, какая прелестная собака Трунила! Он узнал меня, — сказала Наташа про свою любимую гончую собаку. „Трунила, во-первых, не собака, а выжлец“, — подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Наташа поняла это».

Правдивое изображение всей полноты описываемой жизни в произведениях Л. Н. Толстого опирается на образную емкость, богатство русского слова. Толстой замечал: «...нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия». Слово Толстого необычайно верно передает и жест, и положение тела, и выражение взгляда, и полет мысли, и движение чувства — весь сложный процесс «диалектики души» героя. Именно поэтому так велико эстетическое обаяние произведений Л. Н. Толстого, так неизмерима их философская глубина,

А. Н. КОЖИН

СИНОНИМЫ

А. М. Горький говорил о Есенине, что тот «не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире». Для передачи тончайших переживаний поэт использовал все богатство художественно-выразительных средств русского языка.

Для Есенина естественно сочетание в контексте разнородных, даже противопоставленных речевых стихий: разговорной, сниженной, грубоватой — и высокой, поэтической. Кажущаяся небрежность, непреднамеренность такого соединения придает особый колорит торжественной лексике, которая тем самым несколько «снижается». «Вот и опять у лежанки я греюсь, // Сбросил ботинки, пиджак свой раздел. // Снова я ожил и снова надеюсь, // Так же, как в детстве, на лучший удел» («Снежная замять дробится и колется...») (Здесь и далее курсив мой. — Л. Б.). Стилистическая разноплановость, выраженная достаточно определенно (просторечное *раздел пиджак* рядом с архаизированно-высоким *удел*) только внешне производит впечатление недостаточно мотиви-



В поэзии С. Есенина



рованной. На самом деле некоторая приглушенность привычных стилевых оценок воспринимается как одна из особенностей индивидуально-авторской манеры.

В разных функциях выступают у С. Есенина группы общеязыковых стилистических синонимов. Так, слова высокие, архаические, книжные могут сохранять в контексте всю полноту своих стилистических признаков: «По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой иконный и строгий лик По часовням висел в Рязанях»; «Я на эти иконы плевал, Читал я грубость и крик в повесе, А теперь вдруг растут слова Самых нежных и кротких песен» («Ты такая ж простая, как все...»).

Естественно, на выбор синонимов влияют и рифма и ритм — в приведенных отрывках, например, это сказывается явно. Отбор синонимов у С. Есенина строго согласуется с требованиями звуковой инструментовки стиха, что отчетливо, например, видно на употреблении синонимов *глаза* и *очи*, ср.: «Никогда я не был на Босфоре, // Ты меня не спрашивай о нем. // Я в твоих глазах увидел море, // Полыхающее голубым огнем» («Никогда я не был на Босфоре...») «Смотрит, а очи слезятся, слезятся, // Тихо, безмолвно, как будто без мук. // Хочет за чайную чашку взяться — // Чайная чашка скользит из рук» («Снежная замать дробится и колется...»). Объединения синонимов в одном близком тексте реализуют их объективные различия в смысловых и эмоциональных оттенках, образно их преломляя: «Ветерок веселый *робок* и *застенчив*, // По равнине голой катится бубенчик» («Слышишь — мчатся сани, слышишь - сани мчатся...»); «Тонет даль за красными холмами, // Кличет на межу. // Не один я в этом мире шляюсь, // Не один брожу» («Свищет ветер под крутым забором...»); «Приемлю все, // Как есть все принимаю. // Готов идти по выбитым следам» (Русь советская).

Парные объединения синонимов в духе фольклорных тавтологических повторов создают народно-песенный колорит стиха: «Думы мои, думы! Боль в висках и темени. // Промотал я молодость без поры, без времени. // Как случилось-сталось, сам не понимаю. // Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю» (Песня); «Залюбуюсь, загляжусь ли на девичью красоту, // А пойду



плясать под гусли, // Так сорву твою фату» («Темна ноченька, не спится...»); «Эх, береза русская! Путь-дорога узкая» («Вижу сон. Дорога черная...»).

Морфологическая и синтаксическая однородность синонимов, употребленных в одном тексте, позволяет рассматривать этот прием как синонимический повтор — разновидность лексического повтора, широко встречающегося в поэтической речи вообще.

Гораздо чаще мы у Есенина встречаем контекстуальные синонимы, смысловые связи между которыми представляют собой определенную основу для построения синонимических рядов:

... Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?

Размахнись косою, покажи свой пыл.

.....

К черту я снимаю свой костюм английский.

Что же, дайте косу, я вам покажу —

Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

«Я иду долиной. На затылке кепи...»

Эти двойные синонимические повторы в строфах стихотворения «Я иду долиной...» способствуют заострению смысла стихотворения.

Подобные синонимические двучленные или трехчленные ряды иногда воспринимаются как воспроизведение устойчивых, привычных сочетаний слов в речи: «Я ведь знаю, и мне знакомо, // Потому и волнуй и тревожь, // Будто я из родимого дома // Слышу в голосе нежную дрожь» («Ты запой мне ту песню, что прежде...»); «Я не знаю, что будет со мною... // Может, в новую жизнь не гожусь, // Но и все же хочу я стальною // Видеть бедную, нищую Русь» («Неуютная жидкая лунность...»). Синонимическое сближение осуществляется здесь на основе конструкции с однородными членами, представляют интерес и специальные приемы ситуативного отождествления, когда сближение кажется более резким, неожиданным, индивидуальным:

Ты — ребенок, в этом спора нет,

Да и я ведь разве не поэт?

«Голубая да веселая страна...»

Поэт у Есенина — это человек с незащищенной душой, сохранивший детскую свежесть и ясность чувств. Применение таких «синонимоподобных средств выражения», «синонимического па-



раллелизма» (В. В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963) составляет одну из характерных особенностей поэтической речи. Синонимические ряды в языке поэзии в отличие от научно-популярного и публицистического стилей сравнительно редко объединяют общезыковые, «словарные» синонимы. Это наблюдение подтверждается и анализом поэзии С. Есенина. Б. А. Ларин очень тонко заметил: «Точные синонимы в лирике имеют малое применение, так как дают обратный эффект — бедности и надоедливости выражения, а потому именно семантическая параллель — неточный синоним — и является тем видом синонима, какой нужен и обычен в поэзии» (Б. А. Ларин. Эстетика слова и язык писателя. М., 1974).

Синонимы поэтического контекста («синонимические фигуры», по Б. А. Ларину) — особая разновидность контекстуальных синонимов, семантическая общность которых обнаруживается при анализе системы поэтических образов.

Проявляя своего рода «синонимическое тяготение», в широкие, разнообразные связи вступают во многих стихах С. Есенина слова *синий* и *голубой* (реже *васильковый*): «Ты мое васильковое слово, // Я навеки люблю тебя» — строки из стихотворения «Я красивых таких не видел...». Элемент произвольности и случайности в этих синонимических связях оказывается незначительным. Образно-чувственные представления эстетически приятного, нежного, красивого оказались во многих случаях закрепленными за словами *синий*, *голубой* и в общественно-речевой практике (голубое небо, синее море, голубая дымка и под.). С. Есенин, таким образом, опирается на общепринятую *символику цвета*. Отсюда — шаг к дальнейшему расширению синонимической группы за счет слов с ярко выраженной эмоциональной окраской и с положительными оценочными значениями.

В речевом строе есенинских стихов наблюдается интересное переплетение прямого и метафорического значений в цветовых обозначениях. Содержание слова становится двуплановым. Когда мы встречаем излюбленный эпитет С. Есенина *голубой* (о Родине, Руси, вообще о стране): «Стережет голубую Русь // Старый клен на одной ноге» — в стихотворении «Я покинул родимый дом...», «голубая да веселая страна», «голубая родина Фирдуси», «Хорошо бродить среди покоя // Голубой и ласковый страны» в «Персидских мотивах» — в сознании, конечно, всплывают и живописные картины Родины: голубого неба, разливов рек, синих лесов на горизонте. В то же время «микрконтекст» формирует новое,



сложное поэтическое значение: «Несказанное, синее, нежное... // Тих мой край после бурь, после гроз. // И душа моя — поле безбрежное — // Дышит запахом меда и роз» («Несказанное, синее, нежное...»).

В строчках из стихотворения «Может, поздно, может, слишком рано...»: «Удержи меня, мое презренье, // Я всегда отмечен был тобой. // На душе холодное кипенье // И сирени шелест голубой» — эпитет *голубой* объединяет в себе и цветковое значение («голубая сирень») и метафорическое («голубой шелест»). Так слово становится компонентом сложного образного целого строфы и даже всего стихотворения, перерастая в символ. Подобные словосочетания («голубой покой» в стихотворении «Песни, песни, о чем вы кричите...»; «голубые года» в стихотворении «Я помню, любимая, помню...»; «голубая прохлада» в стихотворении «Синий май. Заревая теплынь...» и другие) символизируют у Есенина особое лирическое душевное настроение — любовь, чистоту, взволнованность.

В одном художественном целом возможны и расчлененно представленные значения — цветковое и метафорическое, что делает связи между ними особенно насыщенными, точными, «зримыми»:

Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.
Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...
Сердце остыло, и выцвели очи.
Синее счастье! Лунные ночи!

«Вечером синим, вечером лунным...»

Образная и эмоциональная переключка начала и конца стихотворения сообщает ему композиционную завершенность.

Символика цвета в поэзии Есенина идет в русле сложившейся в 20-е годы поэтической традиции и во многом соприкасается с поэтикой А. Блока.

Синонимы у С. Есенина гармонически объединяются с антонимической лексикой. Сочетание в одном эмоциональном образе противоположных настроений (тоска, печаль, грусть — радость, отрада, смех и т. п.) свойственно композиции стихотворения в целом. Противопоставления зачастую многоплановы: «Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно» («Годы молодые с забубенной славой...»); «Грубым дается радость, // Нежным дается



печаль»; «Потому и достался не в срок, // Как любовь, как печаль и отрада, // Твой красивый рязанский платок» («Я красивых таких не видел...»). Объединение антонимов характеризует и словосочетания с подчинительной связью, образуя различные виды оксюморона: «Люблю до радости и боли // Твою озерную тоску» («Запели тесаные дроги»); «Этой грусти теперь не рассыпать // Звонким смехом далеких лет» («Плачет веселая флейта...»); «Какая грусть в кипении веселом!» (Русь уходящая). Наибольшей слитности, целостности достигает объединение антонимической лексики в словосочетаниях с определительным значением: «Кого позвать мне? С кем мне поделиться // Той грустной радостью, что я остался жив?» (Русь советская).

Часто у Есенина рядом слова *плач* и *смех*, *плакать* и *смеяться* как свидетельство внутреннего разлада, душевной неустроенности:

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?
Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.
«Над окошком месяц. Под окошком ветер...»

Обычное соединение образов противоположных настроений приводит к их взаимопроникновению: часто в смехе звучат слезы, в рыдании слышится лихая удаля. Так, например, слова *рыдать* и *хохотать* — антонимические стержневые компоненты метафор, сближающихся в своей экспрессивно-смысловой основе, создают образ колокольчика:

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес.
В залихватском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез.

«Эх вы, сани! А кони, кони!...»

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

«Мелколесье. Степь и дали...»

В образном строе как разных стихотворений, так и во всем творчестве поэта осуществляется синонимическое сближение анто-



нимичных метафор. Контекстуальная антонимия очень разнообразна по своим морфологическим типам и способам использования:

Милая девушка, злая улыбка.
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не надо.

«Плачет метель, как цыганская скрипка...»

Подобные, кажущиеся парадоксальными, противопоставления и сопоставления создают резкие эмоциональные контрасты, способствуют выражению особого драматизма, остроты чувства. Ср.: «Едет, едет милая, // Только нелюбимая» («Вижу сон. Дорога черная...»).

Лексические синонимы и синонимические фигуры разных видов используются Есениным как средство определенной ритмомелодической организации стиха. Они создают параллельный ритмический рисунок стихотворных строк. Симметричность отчетливо проступает во многих стихотворениях С. Есенина, таких как «Не жалею, не зову, не плачу...» и др., часто она объединяет две заключительные (или начальные) строки четверостишия:

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляню.

«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...»

Хорошо в черемуховой выюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

«Жизнь — обман с чарующей тоскою...»

Простота в расположении словесных рядов, напевность и задушевность интонаций роднят стих Есенина с народной песней.

А. С. Серафимович вскоре после смерти Есенина записал: «Кто такой был Есенин? С огромной интуицией, с огромным творчеством — единственный в наше время поэт... И огромная, все ломающая смелость эпитетов, сравнений, выражений, поэтических построений. Сам. Ни у кого не спрашивал, никому не подражал» (А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М., 1958).

Л. В. БУБЛЕЙНИК

Луцк

Рисунок В. Толстоногова





ИЗ «ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» А. П. ЧЕХОВА



Антон Павлович Чехов не хранил своих рукописей — обычно он уничтожал их после опубликования. Создается впечатление, что великий художник слова ревниво оберегал от посторонних глаз тайны своего мастерства. «Моя тайная канцелярия» — так, по воспоминаниям актрисы К. Каратыгиной, полушутя называл он то, что сейчас именуют творческой лабораторией писателя. И все-таки постараемся проникнуть в нее и увидеть хотя бы частично те муки слова, через которые прошел взыскательный мастер.

Впрочем, многие мысли Чехова о языке можно найти в его письмах. Но эти высказывания не дают представления об эволюции художественных вкусов и языковой практики самого писателя. К счастью, есть еще одна возможность заглянуть в его «тайную канцелярию». Перепечатывая свои ранее опубликованные рассказы и повести в различных сборниках, готовя собрание сочинений, Чехов подвергал эти произведения безжалостной стилистической правке.

И дело не только в исправлении неточностей и погрешностей, не только в устранении вульгаризмов и экзотических словечек, литературных трюизмов и утрированно-комических выражений, носящих привкус журнальной юмористики, Переоценка коснулась

всех сторон языковой практики. Изменились принципы отбора слов, построения словосочетаний, пересмотрены были грамматические и даже ритмико-мелодические нормы употребления слов. Поэтому именно сопоставление вариантов чеховских произведений позволяет определить основные пути совершенствования писательского мастерства.

Во многих поздних письмах Чехова (М. Горькому, Е. М. Шавровой, А. И. Петровскому и др.) повторяется настойчивая мысль о «неудобстве» применения в художественной прозе иностранных слов, таких, например, как *специфический*, *фаталистически* и т. п. Эти советы другим литераторам были подсказаны собственным опытом Чехова. Зрелого писателя раздражают многие бойкие чужеземные словечки. Неудивительно поэтому, что сотни иноязычных слов при переработке рассказов и повестей были заменены русскими соответствиями. Вот лишь некоторые примеры: *специфический* — *особенный* (Старый дом, Красавицы) [в скобках указывается название произведения, где зарегистрировано данное исправление], *ординарный* — *обыкновенный* (Муж), *конвенция* — *условие* (Репетитор), *индифферентно*, *индифферентизм* — *равнодушно*, *равнодушие* (В Москве на Трубной площади), *экстраординарный* — *особенный* (Страхи), *экстраординарный* — *необыкновенный* (Кухарка женится), *этикет* — *приличие* (Тина), *эффект* — *впечатление* (Сонная одурь), *официальный* — *деловой* (Дорогие уроки), *специальный* — *особенный* (Пустой случай), *шокировать* — *оскорблять* (Пустой случай), *антраша* — *прыжки* (Ночь перед судом), *ретироваться* — *возвратиться* (В потемках), *комбинировать* — *соединять* (Пересоллил), *мания* — *сумасшествие* (Пассажир 1-го класса), *баланс* — *равновесие* (Жена), *оппонент* — *противник* (В бане), *комментировать* — *говорить* (Певчие), *сантиментальные глазки* — *ласковые глазки* (Учитель), *традиция* — *привычка* (Тоска), *эксперимент* — *опыт* (Сильные ощущения), *читал мораль* — *читал наставление* (Умный дворник), *читал нотацию* — *наставление* (Первый любовник), *галантный* — *одетый по моде* (Пустой случай), *коллеги* — *товарищи* (Талант), *игнорировать* — *не замечать* (Житейская мелочь), *у всякого индивидуума* — *у всякого человека* (Трагик), *скомпоновать* — *придумать* (В суде), *симулировать* *влюбленного* — *разыгрывать влюбленного* (Пустой случай), *эксплуатировал* — *требовал подарков* (Злой мальчик), *субъект* — *человек* (Старый дом), *мистификация* — *шутка* (Поцелуй), *привилегия* — *льгота* (В Москве на Трубной площади).

Из окончательного текста А. П. Чехов устранил множество варваризмов, характерных для претенциозного жаргона дворянско-буржуазного сословия конца XIX века: *бонвиван*, *бонсуар*, *рандеву* и т. п. Часто варваризмы заменялись русскими словами и описа-

тельными оборотами: *à propos* — *между прочим* (Переполох), *достигает своего forte* — *становится шумнее* (Тоска), *растет crescendo* — *становится все громче* (Заблудшие), *ни на одну йоту* — *ни на одну малейшую черту* (Красавицы). Правда, есть случаи, когда в окончательный текст для речевой характеристики персонажей вводятся отдельные варваризмы: *рандеву* (В почтовом отделении), *parole d'honneur* (Первый любовник) и др. Однако таких примеров немного, и они отнюдь не противоречат тому сознательному отталкиванию от чужеземных слов, которое стало так характерно для зрелого Чехова с его внутренней неприязнью ко всему наносному и легковесному.

Известно, что Антон Павлович резко осуждал неумеренное использование диалектизмов, грубопросторечных слов и, в особенности, подделок под народную речь. В его письмах друзьям-литераторам неоднократно встречаются пожелания освободиться, как он выражался, от «ернических слов». «Язык должен быть прост и изящен,— писал он брату Александру 8 мая 1899 года.— Лакеи должны говорить просто без *пуцай* и без *теперича*». Это требование к языку писателя у самого Чехова сформировалось не сразу. При сопоставлении его ранних и более поздних рассказов видно, как старательно выкорчевывал он все то, что не отвечало непременно условию изящества и простоты. Из окончательного текста Чехов убирал такие слова, как *акромья*, *таперича*, *покеда*, *левольвер*, *колидор*, *нагинать*, *чхать*, *рассердимшись* и т. п.

Необыкновенно мягкий по характеру, писатель с годами становится совершенно нетерпимым к любым проявлениям пошлости и грубости (в языке в том числе). Поздний Чехов решительно расправлялся с вульгаризмами, освобождаясь, таким образом, от чуждой ему литературной безвкусицы. В рассказе «Тина» он заменяет просторечный глагол *стрескал* словом *съел*. В рассказе «Волк» вместо грубого слова *укокошить* он пишет *уложить*, а в рассказе «Бумажник» тот же глагол заменяет словом *убить*. Лингвистический анализ произведений А. П. Чехова позволяет утверждать, что он произвел десятки, если не сотни, подобных замен. Например:

налопался — *наелся* (Не в духе), *за галстук грахнуть* — *выпить* (Бумажник), *шваркнул салфеткой* — *швырнул салфеткой* (Кухарка женится), *чуть не окошел* — *чуть не помер* (Женское счастье), *корсет напялила* — *корсет надела* (Муж), *втюрился* — *влюбился* (Сильные ощущения), *приперли* — *пришли* (Заблудшие), *рапсодию отжаривал* — *рапсодию исполнял* (Роман с контрабасом), *аптекой воняет* — *аптекой пахнет* (Аптекарьша), *не харкнет* — *не плюнет* (На чужбине), *готов плевки подтирать* — *готов на всякую низость* (На чужбине), *рожи* — *физиономии* (Пьяные), *рыло* — *лицо* (Сонная одурь), *на рыло приходится* — *на каждого приходится* (Бумаж-

ник), *бабье — женский пол* (Трагик), *бабица — дама* (Жилец) и т. п.

Совершенно очевидно одно — с годами у Чехова повышалась чувствительность к языку. Порой у него появлялось отвращение даже к тем словам, которые привлекали его в пору молодости. Так случилось, например, с прилагательным *плёвый*, которое он щедро употреблял и в письмах, и в ранних рассказах. Позже он стремится избавиться от него. Сравним две редакции рассказа «Не в духе». В первом варианте читаем: *сумма ничтожная, плевая*, в позднем: *сумма ничтожная, пустяшная*. В рассказе «Ночь перед судом» было: *будущее мое плевое*, стало: *будущее мое отчаянное*; в рассказе «Женское счастье» говорилось: *дело плевое*, после исправления: *дело пустяковое*.

Антон Павлович Чехов известен как непримиримый враг мещанства. Столь же непримирим был он и к обывательским словечкам. И часто упрекал собратьев по перу за «мещанистый тон их разговорного языка». Зрелый Чехов и сам уже не принимает слов *прибрать*, *приборка*, *прибрано*, последовательно заменяя их на *убрать*, *уборка*, *убрано*. Не всегда, правда, легко объяснить, почему писатель изгонял те или иные слова. Очевидно, он видел некий стилистический изъян, как, например, в словах *звякать*, *звяканье*. Эти слова широко представлены в русской беллетристике, они встречаются кое-где и в поздних редакциях у Чехова. Но лишь кое-где, потому что в других случаях он заменил их на слова менее «звонкие»: *вдова звякает посудой — вдова стучит посудой* (Талант), *звякает звонок — слышится звонок* (Иван Матвейч), *звякнул звонок — позвонили* (Хористка), *звяканье ложек о тарелки — стук ложек о тарелки* (Переполах).

А. П. Чехов как редактор своих же произведений беспощадно вычеркивал ненадежные слова, подвернувшиеся ему некстати в прошлом, когда вынужденное скорописание мешало отделить пшеницу от плевел. Но не меньшую работу проделал он и при исправлении сочетаний слов. Писатель целеустремленно отыскивает типичные словосочетания, как бы стремится к соблюдению общелитературной нормы. Его не удовлетворяют соединения слов: *тощее лицо* (Черный монах), *черствые груши* (Ариадна), *излить свой гнев* (Жилец). В поздних редакциях мы встречаем уже исправленные, нормативные словосочетания: *худое лицо*, *жесткие груши*, *сорвать свой гнев*. Во многих случаях Чехов отказывается от броских, слишком вычурных определений: из рассказа «Переполах» он исключает сочетания *тряпичное лицо*, *мочалистый человек*; из рассказа «В бане» — *пятюкопечный старикашка* и т. п.

Но неверно было бы думать, что Чехов повсюду «усреднял» текст и убирал индивидуально-авторские словосочетания. В его

произведениях множество выразительных, неповторимых и — что самое главное — художественно оправданных писательских находок, например: *упрямый лед* (Весной), *осеннее настроение* (Моя жизнь). Чехов упорно искал свежих и часто единственно пригодных в данном контексте эпитетов. Вот лишь один пример. В первом варианте рассказа «Невеста» безнадежно больной, но сильный духом интеллигент Саша пишет письмо «веселым, улыбающимся почерком». Но писателя не удовлетворяет определение *улыбающийся*. Это слово, правда, отражает характер героя, но недостаточно зримо; читатель не может увидеть, представить себе такой почерк. И Чехов правит: «веселым, танцующим почерком». Так в долгих, мучительных поисках рождался художественный образ, подкупающий своей точностью и безыскусственной простотой.

Большое внимание уделял А. П. Чехов грамматической правильности речи. И здесь уточнения были направлены в первую очередь к устранению всего не устоявшегося, не типичного для литературного языка конца XIX века. Можно, пожалуй, сказать, что в зрелом периоде творчества Чехов стал отдавать предпочтение традиционным и стилистически нейтральным грамматическим формам. Вместо *войти вовнутрь* он пишет *войти внутрь* (Клевета), вместо *тыкая — тыча* (Художество), вместо *волоса — волосы* (Тссс!). В качестве замен использовались только те новообразования, которые достаточно утвердились в языке того времени: *учителя* вместо *учители* (Экзамен на чин). Некоторые поправки на первый взгляд могут показаться мелкими и несущественными, в действительности, однако, они были продиктованы тонким языковым чутьем писателя и незаметно служили весьма важному делу — безукоризненной правильности речи.

Так, далеко не безразличен для Чехова был выбор предлога: *в* или *на*. И он неустанно исправляет, заменяет один предлог другим. В рассказе «Кухарка женится» было: *прокрался в кухню*, Чехов правит: *прокрался на кухню*; в рассказе «Лишние люди»: *садится на кресло*, после исправления: *садится в кресло*. Нередко писатель вставляет предлог в беспредложные обороты, как бы расчленяет им слова и тем самым облегчает восприятие текста. Так, в рассказе «Анюта» было: *на груди Анюты*, во второй редакции Чехов вставил предлог *у*: *на груди у Анюты*. В рассказе «Нахлебники» было: *вкусный пар щей*, стало: *вкусный пар от щей*.

Исправлению подверглись и некоторые формы грамматического управления. Нормализация текста осуществлялась при этом в двух направлениях. С одной стороны, Чехов восстанавливал традиционные конструкции, в особенности, если это касалось устойчивых словосочетаний: *смело глядит в глаза будущего* — *смело глядит в глаза будущему* (Талант). Однако в других случаях правка

отражает, видимо, общий прирост в литературном языке новых, продуктивных форм управления; например, распространение винительного падежа прямого объекта при глаголах: *искать дороги — искать дорогу*; ср. в чеховских вариантах: *ищет глазами иконы — ищет глазами икону* (Хирургия), *займите фрака — займите фрак* (Жизнь в вопросах и восклицаниях).

Конечно, и сопоставление вариантов не дает еще исчерпывающей картины творческого процесса Чехова. К сожалению, не дошли до нас типографские корректуры, которые, как он сам выражался, «пачкал вдоль и поперек». Но даже то немногое, что теперь стало явным, показывает, как под рукой опытного мастера создавалась благородная простота языка. Писатель стремился в первую очередь к устранению всякого рода крайностей: вычурные сравнения и метафоры, цветистые эпитеты, претенциозные варваризмы исчезали при переработке текста вместе с грубыми провинциализмами, вульгарными и обывательскими словечками, натуралистическими подделками под народную речь. По убеждению Чехова, форма не должна тяготеть над смыслом, затмевать его. Даже художественная речь не может слишком далеко отступать от общепринятых языковых норм. Вот почему, кстати, творческое наследие Чехова служит еще и неоценимым историческим материалом для изучения русского литературного языка конца XIX — начала XX века.

Глубокие мысли А. П. Чехова о языке и стиле, его призывы к усердному, кропотливому труду, его борьба и против изысканного, и против вульгарного языка, его советы «не писать, а вышивать на бумаге» были рождены собственным писательским опытом, неудовлетворенностью сделанным, творческими терзаниями. Его «тайная канцелярия» рисует облик писателя-труженика, чей редкий талант служит и русскому обществу, и русской литературе, и великому русскому языку.

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

В ближайших номерах журнала будут опубликованы статьи о творчестве Ф. Тютчева, А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой.

СТИХОТВОРЕНИЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ТРИ ПАЛЬМЫ»

Стихотворение «Три пальмы» Лермонтов снабдил подзаголовком «Восточное сказание». Произведение это связывают с пушкинским IX «Подражанием Корану». И действительно, мы находим в «Трех пальмах» черты иносказания. Но, кроме того, в стихотворении улавливаются особенности назидательной притчи, с несвойственным ей, казалось бы, богатством изобразительно-выразительных средств. Яркое и красочное, насыщенное поэтическими образами, произведение по некоторым жанровым признакам предполагает скрытое от беглого взгляда сопоставление с современной поэту жизнью.

Стихотворение заставляет задуматься об определенных сторонах действительности, общественных противоречиях, выносит приговор отрицательным явлениям, дает поучительный урок, предостерегая от повторения ошибок.

До настоящего времени «Три пальмы» продолжают считать балладой. Отсюда, очевидно, и неточность подхода к ним, поскольку возникает разрыв между авторским замыслом и его жанровым воплощением.

В стихотворении взаимодействуют и противостоят друг другу две силы — люди и природа. Человек безжалостно и бездумно уничтожает прекрасные ее творения («И пали без жизни питомцы



столетий!..»). Но было бы совершенно неверно сводить к этой мысли все содержание «Трех пальм».

Появление каравана, которым нас заставляет любоваться поэт, приносит вместе с тем разрушение красоты цветущего оазиса.

Остановимся сначала на положительном содержании символического образа каравана — сообщества людей. Поэт уверен, что только в объединении, в союзе люди сильны и жизнедеятельны.

Наши симпатии привлекает яркий, подвижный караван, резко выделяющийся на фоне однообразных, бесплодных песков. Радует смена красок, обилие движения.

Появление каравана подготовлено предшествующим описанием — среди «почвы бесплодной», всё иссушающих «знойных лучей» словно зарождаются движение и цветовая гармония (сочетание голубого и золотого тонов): «...в дали голубой Столбом уж крутился песок золотой...» (курсив здесь и далее мой.— А. Ж.). Как живописны, объемны, красочны возникающие из этой дали и взвихренного песка образы: «Узорные полы походных шатров; Их смуглые ручки порой подымали, И черные очи оттуда сверкали...»; «Араб горячил вороного коня»; «И белой одежды красивые складки!»

Цветовые впечатления передаются не только эпитетами. «Пестрели коврами покрытые вьюки...» — расписные, разноцветные, ковры нарядны в нашем представлении даже без дополнительных определений. Поэтому достаточно глагола *пестрели* — и перед нами возникает яркая картина прибывшего каравана. Его описание насыщено словами, передающими самые различные действия: размеренные, плавные, дополненные сравнением «как в море челнок», — и резкие, мгновенные, усиленные сравнением «как барс, пораженный стрелой»:

И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;

.....

И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копьё на скаку.

С появлением людей все вокруг становится праздничным:

Вот к пальмам подходит шума караван:
В тени их веселый раскинулся стан.

В первой части произведения лишь в положительном своем значении представлен и другой центральный образ — живительный оазис. Его образуют пальмы и родник. Система метафор в произведении не случайно сконцентрирована вокруг этого образа («И, гордо кивая махровой главою, Приветствуют пальмы нежданных гостей, И щедро поит их студены́й ручей»). Пальмы и ручей, воплощение всего прекрасного, оттенены окружающей их пустыней, пронизанной «знойными лучами» и «летучими песками». Гордые, высокие пальмы, «сень зеленых листов» и в следующей строфе — «роскошные листья и звучный ручей». Этот возвышенно-идеальный в своем внешнем проявлении в первой части произведения образ по своей внутренней сущности вполне соответствует первоначальному представлению. Правда, в первый момент недовольство пальм («И стали три пальмы на бога роптать») может показаться нарушением гармонического равновесия, которое они в себе воплощают. К тому же в произведении дважды повторен эпитет «гордые» («гордо»), и возникает вопрос: не является ли их ропот проявлением гордыни и не за это ли в конце концов небо покарало их?

Однако недовольство, настойчивое требование в конечном итоге сводится к благородному стремлению приносить пользу:

«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колелемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..»

Упрек небу: «Не прав твой, о небо, святой приговор!» — продиктован мечтой о достижении возвышенной цели. И цель эта — в служении людям. Не наказания, а возвеличения заслуживает такой порыв.

И вот появляется караван, люди приносят с собой оживление. Но что-то едва уловимое начинает настораживать в этом хаотичном веселье, пробуждая затаенное предчувствие неизбежного крушения готовых было осуществиться надежд, предчувствие только слегка обозначено полутонами в общей мелодии, создающей настроение: «Звонков раздавались *нестройные звуки*», «...с криком и свистом несясь по песку...», «...подходит *шума караван...*», «*пестрели...* вьюки». Хочется обратить внимание особенно на два последних выделенных слова: *шума* и *пестрели*.

Слова *шум* и *пестрота* в лирике Лермонтова становятся со временем обозначением сил, нарушающих гармонию. Такова роль этих микрообразов, например, в стихотворении «1-е Января»: «Как часто, *пестрою* толпою окружен...»; «И *шум* толпы людской спугнет мечту мою...».

Да и сама подвижность нахлынувшего на оазис людского потока не лишена неожиданных резких изломов («горячил... коня», «прыгал», «бросал и ловил», «на скаку»).

Появление тревожного чувства связано не с поверхностным, легко осязаемым, а с другим, более глубинным философским смыслом произведения, открывающим переносное значение образов.

Предчувствие сбывается, «реализуясь» в действиях людей:

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Метафоры: «питомцы столетий», «одежда», «тела», — словно оживляют образ, усиливая боль утраты, сострадание. Поэт не находит совершенному преступлению никаких оправданий. Финал стихотворения представляет собой красноречивое напоминание об основном событии и содержит оценку этого события: так же, как людьми были истерзаны и погублены пальмы, выросшие у гремучего ручья, так теперь «коршун хохлатый, степной нелюдим, Добычу терзает и щиплет над ним». Подобно коршуну, люди жестоки и хищны. А пальмы, как и жертва коршуна, гибнут бесмысленно.

После совершенного зла, не придав ему никакого значения, караван продолжает «уточный свой путь», словно кем-то заведенный механизм, оставляя после себя опустошенную землю. Уничтожение благородных и прекрасных пальм приводит к гибели самого источника жизни: начинает пересыхать живительный ключ. В словесной ткани стихотворения этот образ создается разнообразными изобразительными средствами. Он представлен синонимическим рядом: *родник*, *студеный ручей*, *гремучий ключ*, *вода*, *влага* *студеная*, *волна холодная*, — что подчеркивает его значительность. Заключение в роднике бодрящая, освежающая сила передается эпитетами *студеный*, *холодный*, противопоставленными определениям *знойные* (лучи), *пылающая* (грудь). образу источника сопутствует и гармоническое созвучие, рождаемое прозрачными струями: «*журча* пробивался», «*кувшины звуча* налилися водою»; «*звучный ручей*», «*гремучий ключ*».

Но вот родник обречен, его животворные силы иссякли:

И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит...

«На почве *бесплодной*» все «*дико и пусто*» — словно эхом отдаются слова, прозвучавшие когда-то в ропоте пальм: «*Без пользы в пустыне росли и цвели мы*» («без пользы» — «бесплодной»; «в пустыне» — «всё... пусто»). Бесполезен ропот-порыв, и самая смерть благородных пальм бесполезна... Но почему?

Каждое из существующих толкований стихотворения отличается однозначностью. Отсюда недостаточность широко распространенного впечатления, будто в стихотворении представлена борьба двух начал: разрушительного и созидательного (караван и пальмы). Между тем, в произведении дается диалектическое решение философской проблемы.

Та линия человеческого поведения, которая иносказательно представлена в образе пальм, вызывает не одно только сочувствие, но и осуждение. Мятежная, деятельная натура поэта не в состоянии мириться с позицией беспомощной, пассивной жертвы.

Сначала наши симпатии всецело на стороне того, кто не может мириться с прозябанием и проявляет последовательность в своем стремлении быть необходимым людям. Чувство удовлетворения приносит мирная картина: караван, отдыхающий под гостеприимной сенью пальм, у щедрого ручья. Значит, существование пальм не напрасно, они исполнили свое предназначение? Но рушится идиллия. И вновь поэт заставляет оглянуться вокруг. Обвиняя мир, где гибнет прекрасное, он не снимает вину и с самой жертвы. Размышляя над случившимся, силясь разгадать его потаенный смысл, современник Лермонтова должен был прийти к заключению: идея служения обществу не может быть ни хороша, ни плоха, пока не выяснен вопрос, какому обществу предстоит служить. Цель нельзя отрывать от реального объекта, рассматривать ее абстрактно.

И сегодня нас не перестает волновать лермонтовское напутствие, заключающее в себе широкое философское обобщение.

А. Д. ЖИЖИНА
Рисунок С. Гавриловой



ЧИТАТЕЛЬ, сравнивая тексты художественной прозы и прозы научной, без особого труда обнаружит в них разницу. Для этого достаточно интуитивного уровня восприятия и некоторых наблюдений над такими самоочевидными фактами, как редкое употребление в художественной прозе терминов, отсутствие формул, графиков, диаграмм, чертежей, которые всецело относятся к прозе научной (специальной литературе в конкретной области знания).

Однако существует достаточно много собственно научных, филологических характеристик, на основании которых это разграничение может быть проведено по ряду существенных признаков.

Прежде всего, художественная и научная проза имеют известные функцио-

О ЯЗЫКЕ НАУЧНОЙ ПРОЗЫ

нальные различия. Если для первой, наряду с познавательной, очень существенна и эстетическая функция, то для второй та же познавательная функция сочетается с информационно-коммуникативной. Второе различие этих двух видов творчества в сфере их распространения. Если художественная проза предназначена для всех, кто читает литературу, то научная рассчитана на специалиста в данной и смежных областях (правда, это не исключает интереса к ней и читателей, имеющих другие специальности). Третье столь же существенное несходство между ними в том, что у них во многом разные языковые средства выражения: язык художественной литературы и язык науки, с помощью которых и реализуется своеобразие художественной и научной прозы.

Можно для наглядности сравнить два небольших фрагмента из художественной и научной литературы и прокомментировать их лингвистически, чтобы затем подробнее остановиться на особенностях языка научной прозы.

«...Лес загудел.

Это был мощный гул, налетавший волнами, громче морского прибора. Порывы ветра становились все сильнее, и казалось, что лес сейчас ляжет необъятной засекой и уже не встанет никогда. А может быть, улетит вся листва и деревья предстанут голыми, будто поздней осенью, черными и унылыми...

Солдаты, как нахохлившиеся птицы, завернувшись в плащ-палатки у подножия древесных стволов, ждали» (А. Кулешов, Белый ветер.— «Знамя», 1977, № 4).

«Зависимость волновой функции от времени.

Волновая функция де Бройля (...) зависит от времени через

посредство множителя $\exp(-\frac{i}{\hbar}Et)$, где E — энергия частицы

(де Бройль рассматривал релятивистскую частицу, в энергию которой включена энергия покоя m_0c^2 , но мы можем разуметь под E нерелятивистскую энергию). Если мы предположим такую же зависимость от времени у волновой функции, удовлетворяющей уравнению Шредингера, (...), то мы можем исключить из этого уравнения параметр E » (В. А. Фок. Квантовая физика и строение материи. «Структура и формы материи». М., 1967).

Первое и непосредственное впечатление от прочитанного сводится, видимо, к тому, что отрывок из художественной литературы вызывает зримую картину надвигающейся грозы и образное представление о людях, настигнутых грозой в лесу; отрывок из научной прозы воспринимается как научное суждение, данное с элементами полемики и в развитие определенного теоретического положения.

Отрывок из произведения писателя А. Кулешова (и писатель и отрывок выбраны совершенно произвольно) не содержит какой-либо особенной, стилистически яркой лексики, тем не менее эффект образности налицо. Достигается образность в данном, конкретном случае одним изобразительным средством — сравнением. Грамматически это выражается употреблением сравнительных форм и сравнительных оборотов (громче, всё сильнее, как нахохлившиеся птицы) и усиливается вводными словами (казалось, может быть, будто). Примененные автором способы и формы словесной образности типичны для художественной прозы.

Отрывок из работы академика В. А. Фока, написанный также казалось бы простыми и знакомыми словами, вызывает у читателя-неспециалиста одно чувство — отсутствие знаний в области теоретической физики, а потому и недоступность его истинного понимания. Но в то же время внимательный читатель видит, как ученый вводит элемент опровержения и развития определенного научного положения путем точных, формульных аргументов и аналогического сравнения фактов. Второй текст отличается строгостью изложения, приемами логического доказательства. В этом участвуют и собственно языковые средства (введение условного придаточного предложения «если мы предположим..., то...», введение средств аналогии «если предположим..., то можем...»), а глав-

ное — специфические средства языка науки — формулы, символы. Лексически в этом отрывке четко вычлениаются собственно термины (волновая функция, время, множитель, релятивистская частица и т. п.), общенаучная лексика (уравнение, параметр и т. п.) и общеупотребительные слова (зависеть, через, посредством, рассматривать, включать, мочь, разуметь, предполагать, удовлетворять и др.).

После этой иллюстрации попытаемся несколько подробнее охарактеризовать язык научной прозы, остановив основное внимание на лексических средствах выражения специального содержания.

Таким образом, имея свою особую направленность, свой предмет изложения (научная теория, гипотеза, эксперимент и т. п.), научная проза приобретает и отрабатывает свои языковые средства выражения. И хотя это тоже русский литературный язык, но в своей особой функциональной разновидности, область применения которой замыкается рамками профессиональных сфер общения. Доля известной недоступности научного текста неспециалисту несомненно есть. И не может не быть. Едва ли правомерно бороться за общедоступность специального текста для массового читателя, даже самого образованного. Для этого существует особый жанр — научно-популярная литература, которая должна органически сочетать подлинную научность с доступностью изложения.

Это однако ни в коей мере не снимает актуальности общих вопросов культуры речи применительно к научной прозе. Таких, например, как неоправданное злоупотребление заимствованиями, усложненными синтаксическими конструкциями и т. п. Владея знаниями в своей области, соответствующей терминологией, специалист «без переводчика» читает специальную литературу.

Что органически присуще языку научной прозы? Какие лексические средства реализуют ее функции? Говоря об этом, естественно, можно иметь в виду только самые общие, вернее, обобщенные характеристические признаки, поскольку индивидуальные «почерки» присущи и авторам научной литературы. Известно, например, сколь индивидуальна, красива и даже изящна манера письма таких ученых, как Тимирязев, Вернадский, Ферсман и ряда других.

Определяя основной словарный состав научной прозы, на первое место закономерно поставить терминологию, посредством которой выражаются понятия данной отрасли науки, а также цикла наук, объединенных на основе интеграционных процессов развития современных научных направлений.

Терминология каждой области знания представляет собой не

простую совокупность наименований специальных предметов, явлений, процессов и т. п., а определенную их систему, отражающую соответствующую иерархическую классификацию понятий.

Терминология — самая информативная часть лексических средств в научной литературе. Существенна роль и так называемой общенаучной лексики, в составе которой объединяются слова, принадлежащие не одной конкретной области знания, а научной сфере общения в целом. Эти слова, как правило, широко употребляются и в других сферах общения, выражая соответствующие понятия «в широком смысле» (интеграция, дифференциация, синтез, параметр, дуализм и т. п.). Наконец, в лексическом составе специальных текстов значительное место занимает и нетерминологическая, стилистически нейтральная лексика. Она также имеет определенные признаки, которые ее отличают от аналогичной лексики в языке художественной прозы. Может быть как раз наиболее существенно проследить отличие этого лексического пласта, поскольку он стилистически нейтрален и присутствует в любой сфере общения.

В языке научной прозы неспециальная лексика служит средством реализации тех же функций, которые возлагаются на термины и общенаучные слова. Поэтому, естественно, происходит отбор в научную прозу наиболее целесообразных и «уместных» общеупотребительных слов. Это прежде всего литературно-книжные слова.

Разговорно-обиходные, просторечные, диалектные слова (если они нетермины), столь необходимые в языке художественной прозы, в научной, как правило, отсутствуют. Они там не нужны, поскольку в специальной литературе не применяется прием стилизации. И кроме того, само содержание этой литературы отражает научное мышление, а не обыденные представления.

Своеобразно в языке научной прозы и применение экспрессивно-эмоциональных средств литературного языка. Так, формы субъективной оценки, создающиеся широко представленной в языке группой увеличительных, уменьшительных, уничижительных и т. п. суффиксов (типа *процессик, аналогийка, положеньице* и т. п.) в научной прозе не находят применения. Хотя оценочная лексика, выражающая определенную качественную квалификацию явлений, предметов и др., употребляется и в специальной литературе (*прогрессивный, новый, блестящий, известный, старый, удачный, убедительный* и т. п.).

Для неспециальной лексики в научной прозе характерны еще некоторые взаимообусловленные черты: количественно таких слов сравнительно немного, они достаточно однородны тематически и обладают высокой частотностью.

Легко выделяются однородные по содержанию группы слов, например, для наименования лица (автор, ученый, исследователь, сотрудник и т. п.); наименования предметов деятельности (работа, книга, статья, монография, диссертация, реферат, исследование и т. п.); процессов деятельности, выраженных как глаголами, так и отглагольными именами (изучать, исследовать, создавать, заключать, определять, анализировать, обосновывать и т. п.) и другие. Мы не ставим сейчас задачу перечисления всех этих лексико-семантических групп. Важно было для иллюстрации лексики показать, что они есть в научной прозе.

Частое употребление одних и тех же неспециальных слов в языке научной прозы объясняется тем, что при всем многообразии тематики и авторских особенностей в жанрах научной прозы прослеживается ряд традиционных и неизбежно общих содержательно-композиционных установок. Это — обязательное определение предмета, объекта исследования, изложение собственной концепции, полемика с оппонентами, анализ материала, эксперимент, выводы, итоги. Традиционность этих установок определяет и некоторую традиционность средств выражения.

Для научной прозы очень характерны некоторые стандартные (в хорошем смысле слова) устойчивые словосочетания: *иметь место, в настоящее время, исходя из..., существует мнение (точка зрения)* и подобные. Многие из таких стандартных оборотов необходимы как логические приемы анализа, выводов: *если верно (то-то), то...; если исходить из..., то...*

В употреблении подобных штампов едва ли верно усматривать бедность, ограниченность языка научной прозы. Здесь они вполне уместны и функционально оправданы.

В целом общеупотребительная лексика используется как средство связи научных понятий, выражения их отношений, толкования понятий, описания материала и эксперимента, для оценки фактов и их опровержения и многого другого, что может быть выражено обычными лексическими средствами литературного языка.

Особое место в составе средств выражения специальных понятий, суждений занимают символические единицы, среди которых можно разграничить отдельные символы и целые формулы. Символы применяются и как самостоятельные знаки понятий (t — температура), и как терминопэлементы в составе особого типа символа-слов (α -частица).

Мы остановились только на некоторых, с нашей точки зрения, существенных лексических особенностях языка научной прозы. Отличие научной литературы не исчерпывается только лексикой, оно ярко проявляется и в своеобразии ряда морфологосинтаксических явлений.

В. ДАНИЛЕНКО

БЛАЖЕННЫЙ: счастливый или глупый ?

О явлении энантисемии

Антонимы — разнозвучающие слова с противоположными значениями — используются всеми носителями русского языка часто и всюду: в обиходной, разговорной речи («Ему говорят *черное*, а он твердит *белое*»), в пословицах и поговорках («Учене свет, а неучене тьма», «Сытый голодного не разумеет»), в языке художественных произведений

(например, антонимы-заглавия: «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Толстый и тонкий» А. П. Чехова, «Дни и ночи» К. Симонова и другие).

Менее известно явление, также относящееся к антонимии, — развитие противоположных значений у одного слова: *благие* (хорошие) *намерения* и *кричать благим матом* (дурным голосом); *лихой* — 1) отчаянный, безрассудный, смелый, отважный; 2) злой, недобрый. Это явление называется **энантисемия** (греческие *эн* 'в', *анти* — 'против', *сем* — 'знак', 'значить'). Образование противоположных значений в одном слове подтверждает философскую теорию о единстве противоположностей. В данном случае возможность образования переносных значений заложена в элементах значения слова — у противоположных явлений всегда есть общий признак, например, слова *черный* — *белый* противопоставлены потому, что оба прилагательных обозначают цвет; *большой* — *маленький* — размер; *рано* — *поздно* — время; *добрый* — *злой* — свойство и т. д.

Два синонимичных слова (синонимы — разнозвучающие слова, близкие по значению) содержат в себе множество сходных элементов значения

и несколько — различных (иначе это не были бы разные слова). В определенных условиях признаки различия могут быть выдвинуты на первый план, и тогда синонимы превратятся в антонимы. Примеры подобного использования синонимов часты в поэзии и художественной прозе: «У жены твоей очи, И не губы — уста...» (Р. Казакова). Слово *уста* (рот) — старославянского происхождения, *губы* (в значении 'рот') — русского; хотя оба слова обозначают одно и то же, значения их здесь противоположны: *губы* — рот, *уста* — красивый рот. А. Фадеев в «Молодой гвардии» противопоставляет *глаза* и *очи*: у Ули Громовой были не глаза, а очи (красивые и выразительные глаза). Точно так же при определенных условиях противопоставляются различительные элементы, и тогда образуются противоположные, антонимичные значения в одном слове. Проявления энантиосемии в русском языке разнообразны.

Многочисленны примеры так называемой разновременной энантиосемии, когда одно из значений слова активно в современном языке, другое — противоположное — сейчас устарело, но было активным на предыдущих этапах развития русского языка. *Наверное* —

1) вводное слово — вероятно, по-видимому: «Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь» (Чехов); 2) наречие (устар.) — несомненно, верно, точно: «Здесь он действовал наверное» (Чехов). Иные отношения у слова *очевидно* (вводное слово) — вероятно, по-видимому, должно быть: «Он, очевидно, согласится». Значение этого слова противоположно его внутренней форме: *очевидно* — 'то, что видно очам', то есть достоверно, несомненно.

Противоположные значения у слов могут выступать и одновременно, но, как правило, слово в одном из значений — просторечное, жаргонное, диалектное (выходит за границы литературного языка). Энантиосемия — явление общенародного, а не только литературного русского языка. Особенно велико число слов с противоположными значениями в говорах.

Значение слова *погода* в говорах Толковый словарь В. И. Даля определяет так: 'состояние мироколицы (атмосферы), воздуха... На юге, западе *погода* нередко значит ведро, хорошее, ясное, сухое время, в прочей же Руси *погода* значит непогода, ненастье; дождь, снег, метель, буря'. В литературном языке слово *погода*

в первом, названном значении — 'хорошая погода' — встречаем в пословице-фразеологизме «Сидеть у моря и ждать погоды».

Разговорная речь, просторечье, жаргоны, так же как и говоры, представляют собой благоприятную среду для развития энантиосемии. Устная речь с ее относительной по сравнению с письменными формами литературного языка свободой в отношении норм позволяет развиваться противоположным значениям: *разблагвестить* (разг., ирон.) — 1) разгласить, разносить вести, слухи; 2) *благвестить* (устар.) — звонить в колокол перед началом церковной службы; *залечить* — 1) вылечить: «Залечить рану»; 2) привести к плохому результату вследствие длительного лечения: «Совсем ее залечили».

Противоположные значения по отношению к значениям слов литературного языка возникают в жаргонной лексике: *завязать* — 1) начать действие (лит.): «завязка романа», завязать интригу; 2) окончить действие (жарг.): покончить с прошлым, с воровской жизнью. Значения, противоположные литературным, образуются в специальной, терминологической лексике: *задуть* — 1) лит.— по-

гасить: «Задуть свечу»; 2) терм.— зажечь: «Задули новую домну».

Каковы же причины возникновения энантиосемии в многозначных словах русского языка?

I. У многих слов русского языка есть эмоциональная окраска — выражение отношения говорящего к сказанному. Она бывает положительной: *дорогой, любимый, ангел* (о человеке), *рученька*; или отрицательной: *проклятый, постылый, скотина* (о человеке), *ручища*; может легко возникать в контексте и легко изменяться, переходить в противоположную — положительную в отрицательную и наоборот. Одна из главных причин образования противоположных значений в слове — изменение его эмоциональной окраски, которое может произойти прежде всего в индивидуальном употреблении слова. Часто, например, употребляются с отрицательной эмоциональной окраской глаголы *осчастливить, отблагодарить, успокоить, благословить*: «Ну, спасибо, осчастливили» (реакция на неприятное сообщение); «И отблагодарил же он меня!» (о неблагодарном человеке) и т. п. У А. П. Чехова в «Чайке»: Треплев. «Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездар-

ных пьесах!». При подобном употреблении отрицательное значение слова может закрепиться как постоянное, и тогда образуются энантиосемичные слова.

Преимущественное распространение энантиосемии в разговорной речи, просторечье, жаргонах облегчает изменение эмоциональной окраски и возникновение слов с противоположным значением: *славить* — 1) в ы с о к. — воздавать хвалу, создавать славу кому-чему-нибудь; 2) п р о с т. — распространять дурные слухи о ком-чем-нибудь; в говорах: *прославить* — опозорить; *бесценный* — 1) к н и ж н. — очень ценный, неопценимый; 2) р а з г. — за бесценно — очень дешево; *убиштовать* д и а л. — 1) угостить, употчевать; 2) прибить.

Можно назвать фразеологизмы, значения которых противоположны по отношению к омонимичным свободным выражениям: «Держи карман шире!» (ничего не получишь); «Убил бобра!» (о неудачной сделке, покупке, деле); «Ни пуха, ни пера!» (пожелание успеха сначала в охоте, затем вообще в любом деле). Устойчивое словосочетание «Маменькин сынок» получило отрицательную эмоциональную окраску, хотя и прилагательное и существительное обра-

зованы при помощи «ласкательных» суффиксов.

II. Образование энантиосемии объясняется многозначностью словообразующих аффиксов, особенно приставок, в русском языке. Некоторые значения приставок могут рассматриваться как противоположные.

Слова с приставкой *про*: *просмотреть* — 1) рассматривая, делать замечания или исправления: «И сел на заднюю лавку и просматривал два незнакомых вопроса» (Л. Толстой); 2) пропускать по недосмотру: «Ты понемногу успокаиваешься и просматриваешь одну недоделку за другой» (Г. Николаева); *проглядеть* — 1) посмотреть, наскоро ознакомиться с чем-нибудь: «Стоило ему проглядеть романс — и он уже знал его» (Л. Никулин); 2) не заметить: «Чехов очень много написал маленьких комедий о людях, проглядевших жизнь» (М. Горький); а также слова *прослушать*, *пропустить*.

Слова с приставкой *за*: *запеть* — 1) начать петь: «Девочки звонкими голосами запели песню»; 2) частым исполнением опозлить (песню, романс и т. п.): «Новая песня пользовалась большим успехом, так что ее совсем запели»; а также *заиграть*, *запустить*, *закапать*; с приставками

от, об (обо): отходить, обойти и другие.

III. Противоположные значения у слов-глаголов могут образоваться в предложениях, где нечетко выражены отношения между лицом, производящим действие, и объектом, подвергающимся действию. Например: *занять* — 1) взять займы: «И занял у него 200 рублей»; 2) прост.— дать займы: «Я занял ему 200 рублей»; *одолжить* — 1) дать займы: «Я одолжил ему 200 рублей»; 2) прост.— взять займы: «И одолжил у него 200 рублей».

Указанные три причины — основные при возникновении энантиосемии, но могут быть и иные причины — индивидуальные для одного слова или характерные для группы слов.

Прилагательное *рахманый* (*рахманый*) в говорах имеет значения — 1) веселый, разбитной, разгульный, говорливый (вятские и костромские говоры); 2) хлебосольный (московские, тверские); 3) щедрый, расточительный (тверские); 4) неразвязный, вялый, скучный, слабоумный (нижегородские, калужские); 5) сонный, вялый, смиренный (псковские говоры). Возможно, что это многозначное слово — результат соединения значений двух слов разного происхождения. Положительная эмо-

циональная окраска значения — ‘тихий, кроткий, милосердный и т. п.’ — связана с книжным заимствованием из индийского слова (через греческий) *брахман* (брамин) — жрец; а ‘веселый, разбитной, разгульный’ и значения с отрицательной эмоциональной окраской — с устным заимствованием из тюркских языков.

Противоположные значения у слова *блаженный* обусловлены социальными причинами, связанными с религиозными и антирелигиозными взглядами. Изменилось отношение к лицу, называемому этим словом. Толковый словарь В. И. Даля дает такое объяснение: *блаженный* — благополучный, благоденствующий и благоденственный, счастливый (о человеке и о времени, случае); сущ.— угодник Божий, законно живущий. А «Словарь русского языка» С. И. Ожегова: 1) в высшей степени счастливый: «Блаженное состояние»; 2) глуповатый (первоначально — юродивый) — р а з г.

Энантиосемия — явление, характерное для русского языка и нашего времени (см. например, образование противоположных значений у слова *абитуриент*. — «Русская речь», 1971, № 4).

В. Н. ПРОХОРОВА

СЛОВА ДИАЛЕКТНОГО ПРОИС- ХОЖДЕНИЯ

Современный русский литературный язык постоянно обогащается новыми словами. Пополнение происходит за счет новообразований, заимствований из других языков, а также из диалектов русского языка. Взаимодействуя с народными говорами, литературный язык оказывает на них большое влияние.

Бахча

Заемствованное из тюркских языков слово *бахча* 'поле, на котором выращиваются арбузы, дыни, тыквы' известно русскому языку давно. Однако в течение длительного времени оно было характерно лишь для народных говоров и существовало в нескольких вариантах: *бакчá* — *бакшá* — *бахчá*. Эти слова, как указано в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, были распространены в оренбургских, астраханских и донских говорах. В данном словаре представлено и слово *баштан*, обозначающее то же понятие, указана и территория его распространения — воронежские и новороссийские говоры. Однако в русский литературный язык вошло только слово *бахча*, а все варианты, в том числе и *баштан*, остались принадлежностью говоров.

В «Словаре русских народных говоров» слово *бахча* имеет широкое значение — 'поле, засеянное какой-либо культурой (арбузами, дынями или хлебными растениями — рожью, пшеницей, просом)'. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова оно зафиксировано в значении 'поле, засеянное арбузами, дынями, расположенное в степи, вдали от усадьбы (на юге)' и квалифицируется как областное. Однако в последние годы это слово получило настолько широкую сферу употребле-



Происходит постепенное стирание особенностей диалектов.

Однако это взаимодействие не является односторонним.

Народные говоры в свою очередь воздействуют на литературный язык.

За последние 50 лет многие диалектные по происхождению слова, относящиеся к сель-

скохозяйственному производству, утратили свою стилистическую принадлежность и вошли в литературный язык. Сравнительно быстро они перешли из лексики ограниченного употребления в нейтральную. К таким словам, например, относятся *бахча*, *доярка*, *косовица* и *кошара*.

ния, что во всех последующих толковых словарях оно дается без пометы, то есть причисляется к литературной лексике. Приведем примеры употребления слова *бахча* в языке художественной литературы: «На самом краю бахчи они обычно усаживались на больших белых тыквах, нагретых солнцем» (А. Калинин. Гремите колокола); «Временами он [юго-восточный ветер] был таким же сухим и теплым, как ветры бахчи, и таким же мягким и сочным, как зрелая мякоть сахарного арбуза» (Онегов. Карельская тропка); «О чем только не говорили в „клубе“! О восстании „Потемкина“ в Тендре, о расстреле революционного крейсера „Очаков“ в Севастополе... о знаменитых бахчах за Санжейкой» (Паустовский. Время больших ожиданий).

Широко употребляются в литературном языке и слова, производные от *бахча*. Вот несколько иллюстраций: «Хороший урожай бахчевых получен в этом году в колхозе...» («Знамя индустрии», 10 сентября 1976); «В последние годы успешно развивается бахчеводство и садоводство» (Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов. Физическая география СССР); «Богатый урожай собирают на полях бахчеводы колхоза имени Ленина Октемберянского района Армении» («Сельская жизнь», 28 сентября 1976). Употребление в литературном языке слова *бахча*, а также производных от него — *бахчевые*, *бахчеводство*, *бахчевод* и др. — является объективным показателем полного усвоения данного слова литературным языком.

Доярка

История этого слова тесно связана с развитием социалистического сельского хозяйства. Диалектное *доярка* относительно недавно проникло в литературный язык. Это слово не зарегистрировано ни в одном из словарей русского языка, издававшихся до



Октябрьской революции. В Толковом словаре В. И. Даля представлены слова *дойльщик* и *дойльщица* 'кто доит корову'. Помеченное в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова с пометой «областное», слово *доярка* в сравнительно короткий срок вошло в литературный язык, вытеснив из него в разряд архаизмов слово *дойльщица*.

К настоящему времени слово *доярка* — 'работница или колхозница, которая доит коров и ухаживает за ними' получило очень широкое распространение, является стилистически нейтральным и употребляется в различных стилях литературного языка. Слово включилось в словообразовательную систему литературного языка. От него образовано слово *дойр*, обозначающее работника-мужчину, который занимается доением коров и уходом за ними: «Теперь и я могу гордиться, что имею своих учеников, таких отличных дояров, как Александр Горбунов и Николай Ермилов» («Сельская жизнь», 26 апреля 1977); «Имя знатного дояра колхоза имени Калинина Георгия Петровича Кобандзе хорошо известно во всем крае» («Сельская жизнь», 15 июня 1977).

В последние годы в результате комплексной механизации, применения передвижных доильных установок, то есть с превращением ручного крестьянского труда в механизированный, в языке газет наблюдается тенденция к замене слов *доярка* и *дойр* синонимами *мастер машинного доения* или *оператор*. Примеры из газеты «Сельская жизнь»: «На молочном комплексе... работают мастера машинного доения — операторы Эви Эйланд и Юлле Йые... Сейчас знатные доярки на двести с лишним тонн превзошли лучший валовой результат прошлого года» (1 декабря 1976); «Благодаря энтузиазму, инициативе комсомольцев, помощи старших товарищей ферма наша стала полностью механизированной. С тех пор профессия моя стала называться „мастер машинного доения“. Это уже звучало по-мужски, и были все основания для гордости своей работой» (26 апреля 1977); «Мастер машинного доения экспериментальной базы „Красный водопад“ Узбекского научно-исследовательского института животноводства Анастасия Ивановна Чудная досрочно выполнила свое полугодовое социали-

стическое обязательство» (1 июля 1977); «В течение года будет подготовлено не менее пяти тысяч операторов машинного доения» (17 августа 1977).

Косовица

35—40 лет назад в литературном языке для обозначения действия от глагола *косить* употреблялись слова *покос* и *косьба*. Однако в последующие годы произошло вытеснение этих слов диалектным *косовица*. О широте этого явления говорит тот факт, что сейчас трудно встретить в языке газет или в устной речи слова *косьба* и *покос*, в то время как *косовица* постоянно встречается в различных стилях литературного языка. Вот, например, употребление данного слова в телепрограмме «Время»: «Косовица озимой пшеницы началась на юге Казахстана» (4 июня 1976); «Продолжается косовица хлебов» (7 сентября 1976).

В Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова слово *косовица* 'сенокос, время косьбы' помечено как областное. Диалектное происхождение подтверждается и помещением его в «Дополнение к Опыту областного великорусского словаря» (1858) в значении 'время покоса и уборки сена'. В настоящее время слово *косовица* употребляется в системе литературного языка в значении 'косьба, кошение; время косьбы'. Однако в 10-м издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (М., 1973) сообщается: «то же, что сенокос», то есть Словарь не отражает нового значения, которое приобрело слово в системе литературного языка. Поэтому такие сочетания, как *косовица хлебов*, *косовица риса* и под., оказываются противоречивыми: *сенокос хлебов*, *сенокос риса*.

С изменением смысла употребляемого в литературном языке слова *косовица* изменилась и его сочетаемость. Если нужно указать конкретное действие (сенокос или жатва), то слово *косовица* обязательно употребляют с дополнением. Только в словосочетании выясняется, о чем идет речь. Если раньше и о сенокосе и о жатве можно было сказать *косовица*, то сейчас слово требует



дополнения: *косовица трав* и *косовица хлебов*. Приведем примеры из газеты «Сельская жизнь»: «В соседних Новоузенском и Краснопартизанском районах в разгаре косовица трав на орошаемых массивах» (25 июня 1976); «Началась косовица хлебов» (4 июня 1976); «К косовице сеяных трав приступили механизаторы юга Туркменистана» (26 апреля 1977) — в этих примерах *косовица* употреблено в значении 'косьба, кошение', а слова *трав* и *хлебов* уточняют действие.

Однако в настоящее время слово *косовица* может употребляться и самостоятельно, без дополнения, обозначая действие (кошение, косьбу) или время этого действия: «Косовица в разгаре» («Сельская жизнь», 18 августа 1976); «Впервые со звеном Мезецкого мы познакомились в прошлогоднюю косовицу» («Знамя индустрии», 22 июня 1976); «Достаточно ограничить участки с обозначением сроков их косовицы на весь период ротации» («Сельская жизнь», 5 марта 1977).

Слово *косовица* встречается в устной речи, в языке художественной литературы и, особенно, в языке газет. В научной речи употребляется также слово *кошэние*: «Кошение трав... будет осуществляться с плющением»; «Большие изменения претерпевают полевые измельчители кормов, которые в новой системе машин предназначены не только для кошения с измельчением, но и для подбора проявленных растений при заготовке сенажа и сена» (Г. М. Бузенков. Технический прогресс в механизации растениеводства).

В системе литературного языка слово *косовица* обычно выполняет только номинативную (назывную) функцию. Оно свободно сочетается с литературными словами. Поэтому не случайно все словари литературного языка, вышедшие после Толкового словаря под редакцией Д. Н. Ушакова, включают его в систему нейтральной литературной лексики.

Кошара

Совсем недавно слово *кошара* 'загон для овец; овчарня' было принадлежностью народных говоров. Однако в последние годы исследователи отмечали его неоднократное употребление на страницах местной печати (см., например, Л. М. Орлов. Диалектизмы и литературный язык. — «Русская речь», 1972, № 2). В стилистической оценке слова *кошара* в толковых словарях русского литературного языка в настоящее время нет единства. Так, в 10-м издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (М., 1973) данное слово отнесено к литературной лексике, а в 17-томном и 4-томном академических словарях его называют областным.



Слово *кошара* было известно еще древнерусскому языку. Его первые письменные фиксации относятся к XIII веку (см.: «Материалы для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского). Однако несмотря на то, что слово *кошара* существует в русском языке в течение нескольких столетий, в литературный язык оно проникло не очень давно. В «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847), например, оно отсутствует; в «Опыте областного великорусского словаря» (1852) представлено в двух значениях — ‘овчарня’, ‘загон для скота’. В «Толковом словаре» В. И. Даля у этого слова отмечено несколько значений (в разных говорах): ‘овечий завод, все заведение для приплода в степях овец’; ‘стойбище для овец, загон, овчарня’; ‘загон для скота, баз, стойло’ и др. К разряду диалектных относит данное слово А. Преображенский в своем «Этимологическом словаре русского языка».

Слово *кошара* известно и многим современным русским народным говорам, например донским, где оно употребляется в нескольких значениях, одним из которых является ‘отгороженное стойбище для овец в поле’. Различают летние кошары, без кровли, и зимние, теплые (см. «Словарь русских донских говоров», Ростов, 1976). Кроме того, в донских говорах употребляется в том же значении и слово *кошарник*.

В результате интенсивного развития овцеводства в нашей стране слово *кошара* стало проникать в литературный язык еще в 50-е годы: «Повалил густой мокрый снег. Степь, кошара, видневшаяся неподалеку, колхозный поселок скрылись из виду» («Правда», 25 ноября 1953). В настоящее время слово широко употребляется в различных функциональных стилях литературного языка; наиболее часто используется в языке прессы: «Мы стояли неподалеку от кошары колхоза имени XXII партсъезда, наблюдали за быстрой, ладной работой хозяина кошары Михаила Павловича Аникейчика» («Сельская жизнь», 20 мая 1976); «Чабанский городок, где производство мяса будет вестись на индустриальной основе, включает в себя шесть больших кошар, кормоцех, гараж, котельную, культурно-бытовой центр, другие объекты» («Сель-

ская жизнь», 7 ноября 1976); «Счастливая улыбка на усталом, с покрасневшими глазами лице — таким мы увидели Сеитбека Култаева в родильном отделении кошары» (В. Костыря. Там, за облаками. — «Огонек», 1977, № 14).

А вот пример употребления этого слова в языке специальной литературы: «При неустойчивой весенней погоде для предохранения ягнят от простуды маток с ягнятами оставляют в овчарне (кошаре) или в базах, лишая их пастбищного содержания» (А. И. Николаев. Овцеводство. М., «Колос», 1973); «Если на ферме несколько кошар, их ставят параллельно друг другу. При каждой кошаре, обычно с южной стороны, устраивается для выгула овец огороженный открытый баз (выгульный двор), в два раза больший, чем площадь кошары» (П. С. Громовой, К. П. Ергаев. Справочник животновода. Куйбышев, 1968); а также в языке художественной литературы: «Сколоченная из... букowych жердин овечья кошара жметса к толоке, которая тянетса вверх до луговин» (И. Чендей. Птицы покидают гнезда. — Роман-газета, 1968, № 21).

Иногда слово *кошара* употребляется в литературном языке в более обобщенном значении — ‘место разведения овец, хозяйство, занимающееся разведением овец’: «...Буклет, посвященный опыту известного овцевода... развезли по всем кошарам» («Правда», 21 декабря 1976); «В стороне от важного начинания оказались и специалисты сельского хозяйства. Поэтому в большинстве кошар перемен к лучшему не произошло» (там же).

Слово *кошара* употребляется в сочетаниях с литературными словами, например: *кошара колхоза, родильное отделение кошары* и др. Оно включилось в словообразовательную систему литературного языка: «В связи с неустойчивой, нередко дождливой и холодной погодой, ранней весной выпущенные на пастбища ягнята могут легко простудиться и погибнуть. Чтобы не допустить этого, применяют так называемый кошарно-базовый метод выращивания ягнят» (Г. Р. Литовченко, П. А. Воробьев. Овцеводство. М., «Колос», 1974).

В стилистическом отношении слово *кошара* воспринимается как нейтральное и ничем не отличается от остальной литературной лексики. В связи с этим стилистическая характеристика слова как литературного, которая дается в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, представляется наиболее соответствующей современному положению данного слова в русском языке.

В. А. ФИЛАТОВ

Донецк

Рисунки В. Толстоногова

Формы БУДУЩЕГО ПРОСТОГО в речи

Глагол является тем центром, вокруг которого группируются различные по своим типам предложения. Конструируя предложение, глагольное слово выступает в нем во всем разнообразии своих форм (вида, времени, наклонения, лица и др.). И в историческом прошлом, и в современном русском языке обнаруживается тесная связь форм времени с категорией вида. Эта связь находит свое отражение в лингвистической терминологии (видо-временные формы глагола).

Глагол по природе своей личен; спрягаемые формы всегда выражают отношение к лицу (определенному или неопределенному). Поэтому формы времени тесно связаны с категорией лица. Не менее тесная связь отличает формы времени с категорией наклонения. Она выражается не только морфологически (парадигма, или система форм изъявительного наклонения), но и синтаксически — в составе предложения. Именно в составе предложения в спрягаемых формах глагола (будь то формы настоящего, прошедшего или будущего времени, совершенного или несовершенного вида, 1, 2 или 3-го лица, единственного или множественного числа) возникают разнообразные значения, выражающие не только отношение сообщаемого к действительности, но и отношение говорящего к тому, что он сообщает своему слушателю, собеседнику. Они активно взаимодействуют с видо-временными значениями, обогащаясь при этом экспрессией, присущей живой разговорной речи.

Достаточно выразительны в этом отношении формы будущего времени совершенного вида, или так называемого будущего простого. Они обозначают действие (состояние) предмета, связанное с достижением результата в будущем. Например: «Старик пошел было вслед за девочкой; но Паншин остановил его.— Не уходите после урока, Христофор Федорыч,— сказал он,— мы с Лизаветой Михайловной *сыграем* бетховенскую сонату в четыре руки» (Тургенев. Дворянское гнездо); «— Это ничего не значит,—

промолвил Эмиль, ласкаясь к нему.— Пойдемте! Мы *завернем* на почту — а оттуда к вам... Вы у нас *позавтракаете...*» (Тургенев. Вешние воды).

По-своему отражая связь будущего простого с формами настоящего времени и вместе с тем возможность употребления будущего простого в значении так называемого настоящего неактуального, в лингвистической литературе используются термины: «настоящее совершенное» (Ф. И. Буслаев), «настоящее глаголов совершенных» (А. А. Потеня), «формы настоящего времени от основ недлительных» (Г. К. Ульянов), «настоящее-будущее совершенного вида» (В. В. Виноградов, Н. С. Поспелов, А. В. Бондарко).

Важно отметить (независимо от названия этих форм), что уже по своей семантике будущее время, обозначающее предстоящее действие, близко к наклонению. Показательно в связи с этим замечание польского языковеда Е. Куриловича (правда, слишком категорическое) о том, что «по сравнению с настоящим и прошедшим, выражающими действительность, будущее, обозначающее возможное, вероятность, ожидание и т. п., представляет собой *наклонение*» (Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 143).

В определенной речевой ситуации близость рассматриваемых образований к формам наклонений, и прежде всего повелительного, выступает предельно отчетливо. Эта ситуация связана, как правило, с употреблением в предложении второго лица обоих чисел будущего простого времени в значении побуждения кого-либо к какому-то действию. Причем это побуждение имеет характер приказа. Приведем несколько примеров:

«— Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне,— промолвил Санин,— вы сейчас *вернетесь* домой или в магазин к г-ну Клуберу, и никому *не скажете* ни единого слова...» (Тургенев. Вешние воды); «— Ну, из этих-то денег ты и *пошли* десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе,— продолжал папа... — ты *принеси* мне и нынешним же числом покажешь в расходе... Этот же конверт с деньгами ты *передай* от меня по адресу» (Л. Толстой. Детство). Сравним возможное употребление повелительного наклонения (второй пример): «— Ну, из этих-то денег ты и *пошли* десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе,— продолжал папа... — ты *принеси* мне и нынешним же числом *покажи* в расходе... Этот же конверт с деньгами ты *передай* от меня по адресу».

Если в предложении повелительное наклонение, то, естественно, возможно и параллельное употребление форм второго лица будущего простого в значении побуждения кого-либо к совершению определенного действия: «— Панталеоне! — шепнул Санин старику, — если... если меня убьют — все может случиться, — *достаньте* из моего бокового кармана бумажку — в ней завернут цветок — и *отдайте* эту бумажку синьорине Джемме» (Тургенев. Вешние воды). Сравним возможное: «— Панталеоне! — шепнул Санин старику, — если... если меня убьют — все может случиться, — *достанете* из моего бокового кармана бумажку — в ней завернут цветок — и *отдадите* эту бумажку синьорине Джемме».

Особенно выразительны такие тексты, где рассматриваемые формы употребляются в одном ряду с повелительным наклонением: «— Ну, хорошо. Послушай, дружок... послушай: там, ты понимаешь, там ты *скажешь*, что все будет исполнено в точности..., а сам... Что ты делаешь завтра?

— Я? Что я делаю? Что вы хотите, чтобы я делал?

— Если тебе можно, *приходи* ко мне поутру, пораньше...» (Тургенев. Вешние воды); «Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?.. Так *возьми* их и самым большим ключом *отопри* второй ящик направо. Там *найдешь* коробочку, конфеты в бумаге и *принесешь* все сюда» (Л. Толстой. Отрочество).

Показателен в этом плане и следующий отрывок из письма В. А. Жуковского А. С. Пушкину (6 июля 1834): «*Пришли* мне копию с того, что напишешь; хоть, вероятно, мне покажут. — Посылаю это письмо с нарочным. Ты же *пришли* с ним и письмо... Ты *пришлешь* мне свое письмо с моим посланным и тотчас *пошлешь* узнать, приехал ли Бенкендорф. Если он уже приехал, то *напишешь* ему другой экземпляр письма и тотчас *пошлешь* к нему на дом...».

Наблюдения над употреблением форм второго лица будущего простого времени в значении побуждения кого-либо к какому-то действию подтверждают мысль о связи и взаимодействии видо-временных и модальных значений, которые возникают в спрягаемых формах глагола в определенной речевой ситуации, в рамках предложения. Из этого следует, что широкий круг видо-временных и модальных значений в их подчас сложном взаимодействии друг с другом реализуется на уровне предложения и более сложных синтаксических объединений. (Об употреблении форм прошедшего времени см.: Е. Н. Прокопович. Формы прошедшего времени. Как они живут в речи? — «Русская речь», 1975, № 3.— *Ред.*).

Е. Н. ПРОКОПОВИЧ



О ЛЕКСИЧЕСКОЙ

Под контаминацией (от латинского *contaminatio* — приведение в соприкосновение; смешение) в лингвистике понимают соединение двух (реже более) языковых единиц в одну. Это явление обычно сопровождается нарушением словообразовательных норм и правил сочетаемости слов. В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой дается следующее определение контаминации: «Образование нового слова или выражения путем скрепления, объединения частей двух слов или выражений, связанных между собой какими-либо ассоциациями». Слова и выражения, образованные таким образом, создаются, как правило, писателями и публицистами, особенно юмористами и сатириками, только для данного случая в особых стилистических целях и носят каламбурный характер.

Существуют два типа контаминации: лексическая (объединение двух или нескольких слов в одно) и фразеологическая (соединение устойчивых словосочетаний или их частей). В рассказе Б. Ласкина «Тридцать лет спустя» («Правда», 16 марта 1975) говорится об участии женщин в Великой Отечественной войне. «— Был такой гвардейский ночных бомбардировщиков авиационный полк. И, можете себе представить, весь личный состав: и летчики, и штурманы, и техники, и вооруженцы — все там были исключительно женщины...— Значит, не вооруженцы, а вооруженщины...». Придуманное экспромтом слово *вооруженщины* — пример лексической контаминации. Оно образовано путем соединения двух слов: *вооруженец* и *женщина*. При этом использовано чисто звуковое совпадение частей этих слов. Такое наложение частей слова называют иногда «аппликацией». Примерами фразеологической контаминации могут служить некоторые фразы Э. Кроткого («Отрывки из ненаписанного»): *пишущая красавица* (машинистка), *малосольные остроты* (*малосольные огурцы* и *соленые остроты*); «Боре от ума» — шутливая надпись М. Светлова на книге, подаренной приятелю.



Лексическая контаминация основана на смешении двух аспектов слова — фонетического и морфемного. Как известно, в русском языке фонетическая, в частности слоговая, и морфологическая структура слова не совпадают (ср. деление слова на

КОНТАМИНАЦИИ



слоги: *по-до-си-но-вик* и на морфемы: *под-осин-овик*). При этом первая дана нам как бы «в непосредственном ощущении», а вторая доказывается лишь путем сопоставления, сравнения слов и грамматических форм с учетом их значения. Установить, из скольких морфем (значащих частей) состоит, например, слово *стекла*, не зная его лексического и грамматического значения, нельзя.

Человек, в совершенстве владеющий языком, умеющий слышать и видеть слово со всеми оттенками его звучания и значения, может повернуть слово неожиданной гранью, истолковать его иначе, чем это принято, по-своему «этимологизировать» примелькавшееся обычное слово. В каких речевых стилях и литературных жанрах применяется скрепление, контаминация двух созвучных слов в третьем?

Лексическая контаминация — явление чрезвычайно редкое, необычное. Она сразу привлекает внимание слушателей (читателей), как и всякое нарушение языковой нормы. Чаще всего контаминированные слова появляются в юмористических и сатирических произведениях, эпиграммах, пародиях, а также в непринужденной речи как шуточные словечки.

Известно, что большим мастером индивидуально-стилистических неологизмов и изобретателем таких слов был В. Маяковский. Слова-«гибриды», созданные поэтом, являются не только замечательными образцами острословия, плодом неистощимой выдумки, но и обладают большой сатирической силой. Например: *орангутангел* (*орангутанг* и *ангел*); *стрекозел* (*стрекоза* и *козел*); *однообразный пейзаж* (в середине слова *однообразный* вставлено *наробраз* — «народное образование»; имелись в виду не очень грамотные поэты-современники); глагол *гроссбухнем*, образованный от бухгалтерского термина *гроссбух* (книга счетов и приходо-расходных операций), в стихотворении «Наш паровоз стрелой дети...»:

Волокитушка сама пойдет!
Поишем,
подпишем,
гроссбухнем!

То же мы видим в шуточной надписи М. Светлова к дружескому шаржу художника И. Игина в книге «Улыбка Светлова»:

Твоею кистью я отмечен —
Спасибо, рыцарь красоты,
За то, что изувекочечил
Мои небесные черты!

Слово *изувекочечил* составлено из двух глаголов, казалось бы, противоположных по смыслу, — *изувечить* и *увекочечить*. Здесь происходит включение, своеобразная вставка-замена, когда основа одного слова как бы вклинивается в середину другого, сохраняющего свою грамматическую форму, — *изувекочечил*. Этот же прием находим в пародии Б. Кежуна «Кукование и ликование» на поэта В. Кузнецова:

Но я упрям: с Уитменом толкую,
И мне за все чудесные «ку-ку»,
За то, что сам себя крити-кукую,
Французы говорят: «Мерси боку!».

К е ж у н. Поэты и портреты:

Словесный гибрид *крити-кукую* представляет собой соединение двух глаголов: *критиковать* и *куковать*. Пародист использует повторение слогов, для того чтобы сблизить слово с другим, имеющим в своем составе два одинаковых слога; ср. также *би-бисировать*, *кап-кап-ремонт* и т. п.

Особый случай контаминации — каламбурные скрепчивания имен собственных, в частности фамилий, например: *Ф. Толстоевский* — один из псевдонимов Ильфа и Петрова (*Толстой* и *Ф. Достоевский*). В фельетоне В. Привального «Штапельный Мопассан» изображается сценка в очереди у книжного магазина. «Я обожаю только классику. За классику я на все готова. Недавно подписалась на этого... как его... Гюгоголя!» (*Гюго* и *Гоголь*). Как явления контаминации рассматриваются также имена собственные, составленные путем слияния словосочетаний или целых предложений в одно слово: названия известных детских сказок Корнея Чуковского «Мойдодыр» и «Доктор Айболит», комическая фамилия *Врибезриску*, придуманная М. Шагинян.

Однако контаминация служит не только целям сатиры и юмора. В произведениях лирического жанра, правда нечасто, встречаются случаи употребления подобных образований. Немало примеров можно найти у С. Кирсанова:

Я жив.
Живы ужи.
Южный жук свою воспевает жужжжизнь.
Счастливы молча ежи.

К и р с а н о в. «Я жив»

Оригинальное «жужжащее» слово придумал поэт, с улыбкой показывая шум и движение жизни в природе.

Несмотря на то, что нередко объединяются слова, очень разные по значению, в них обычно имеется какой-то общий признак, который позволяет объединить два слова в одно. Так, в стихотворении С. Кирсанова «Никударики»: «С тихим смехом: — Навсегданыца! — никударики летят» слово *никударики* составлено из наречия *никуда* и какого-то уменьшительного существительного, обозначающего предмет, способный летать и производить звуки (возможно, что-то напоминающее комариков). Сообщение о летящих существах предполагает направление полета, в данном случае они летят никуда, то есть в пустоту, в бездну (ср. название романа А. Грина «Дорога никуда»).



Рассматриваемые образования — явление по преимуществу речевое. Поэтому они, как правило, получают определенный смысл лишь в данном контексте, в данной речевой ситуации. Их значение складывается из значений контаминирующихся слов и экспрессивной «добавки» (оттенка шутливости, иронии, гротескности, пародирования и т. п.). В редких случаях слова-«гибриды» становятся достоянием общенародного языка, например неологизм С. Маршака *мастер-ломастер*, созданный в духе детской речи, стал крылатым словом. Как и обычные слова, он получил самостоятельное лексическое значение (*мастер-ломастер* — человек, который больше ломает, чем строит). В результате контаминации происходят изменения в смысловом содержании высказывания, появляются неожиданные оттенки, которые вызывают комический эффект или создают впечатление смелого новаторства (иногда весьма рискованного) в стиле художественного произведения.



Анализируемый материал показывает, что способы контаминации, используемой в разных стилях и жанрах литературы, а также в разговорной речи, — разнообразны. Для сатириков и юмористов, фельетонистов и пародистов контаминированные слова и выражения служат одним из эффективных средств осмеяния пороков и недостатков людей, отрицательных явлений жизни.

А. Г. ЩЕПИН
Чита

СЛОВА- «ГИБРИДЫ»

В русском языке есть слова, которые занимают промежуточное положение между сложными и сложносокращенными. Возьмем, например, название лекарственного препарата *пирамейн*. Оно образовано из слов *пирамидон* и *кофеин*, которые как бы вставляются друг в друга, — *пирам*(идон+коф)*ейн*. Отсюда и названия данного способа словообразования в русском языке — вставочный и телескопический (слова «складываются», как звенья телескопической трубы). В этой заметке будут рассмотрены только такие слова, которые образованы из равноправных в смысловом отношении частей.

«Вставочное» словообразование применимо для создания наименований лекарственных препаратов. Данный способ является интернациональным. Приведем несколько примеров: *амазол* — ам(идопирин+диб)азол, *белластезин* — белла(донна+ане)стезин, *бегиол* — бегли(донна+их)тиол, *келливерин* — келли(н+папа)верин, *кофальгин* — коф(ейн+ан)альгин.

Интернациональными являются также названия сплава *алюмель* — алюм(иний+ни-

к)ель и новой зерновой культуры *тритикале* (лат. *tritica* — *triticum* ‘пшеница’ + *secale* ‘рожь’). Слово *тритикале* иллюстрирует случай взаимного проникновения частей слов, которое дает возможность двоякого членения: *tritic*(um+*se*)*cale* или *triti*(cum+*se*)*cale*. Сюда же относится образование лекарственного препарата *осарцид* — *осарцол* + *стрептоцид*.

Приведем примеры несимметричных образований, то есть таких, в которых один из компонентов усечен, а другой — нет: *хромель* — *хром* + (ник)ель; *нихром* — ни(кель) + *хром*. Такие построения ближе к аббревиатурам, чем к сложным словам.

В русском языке есть слова «вставки» иностранного происхождения; приведем примеры прямых заимствований: *смог* ‘дымо-туман, туман с дымом’ — англ. *smog* — *sm*(oke) ‘дым’ + (f)og ‘густой туман’; и калек: *шахматы* ‘игра — комбинация шашек и шахмат’ (см. журнал «Квант», 1975, № 4, с. 59). А вот другой пример: *творис* — *творог* + *рис* (это смесь для детского питания; см.: «Справочник педиатра» под ред. М. Я. Студеникина. Ташкент, 1969, с. 48). В профессиональном языке возник также термин *ситалл* — *стекло* и *кристалл* (ситалл — это материал, в котором сочетаются стеклообразная и кристаллическая фазы).

Представляет интерес индивидуальное новообразование Маяковского *аэросипед*. Это слово можно «вывести» по схеме *аэро* (план+вело)*сипед*. «Вставочное» словообразование встречается также в современной поэзии, например *человолки* (человек+волк) у А. Вознесенского. Чтобы показать неограниченные возможности этого способа словообразования в русском языке, процитируем стихотворение для детей «Садовод» Н. Кончаловской. Однажды садовод «...принес чемодан, полный разных семян, но смешались они в беспорядке». И вот что из этого получилось:

...на грядках, засеянных

густо,

Огурбузы росли,
Помидыни росли,

Редисвекла, чеслук и
репуста.

Сельдерошек пестрел,
И *мортофель* поспел,
Стал уже осыпаться
спаржовник,
А таких *баклачков*
И мохнатых стручков
Испугался бы каждый
садовник.

Удачной словесной «гибридизации» здесь способствует взаимопроникновение частей слов, о котором уже говорилось (следует обратить внимание на *-р-* в *огурбузы*, *-д-* в *помидыни* и т. п.).

Таков диапазон применения «вставочного» словообразования — от специальной терминологии до шутки.

Л. Н. КРЫЖАНОВСКИЙ
Ленинград

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В издательстве «Русский язык»
вышли из печати

Д. И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров.
Словарь сокращений русского языка. Около 15000 сокращений. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1977.

С. И. Ожегов. Словарь русского языка. Изд. 12-е, стереотипное. Под редакцией Н. Ю. Шведовой. М., 1978.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ОТ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

В редакцию «Русской речи» приходит немало писем читателей с вопросами об особенностях построения и написания прилагательных, образуемых от собственных имен — прежде всего от географических названий (топонимов).

Учительница Х. Х. Ондар из Тувинской АССР просит объяснить, «почему прилагательное *кызылский*, образованное от названия города Кызыл, теперь принято писать без мягкого знака». Вопрос не случайный. Обычно в прилагательных перед суффиксом *-ск-* согласный *л* смягчается: *село — сельский, генерал — генеральский, есаул — есаульский, Байкал — байкальский, Барнаул — барнаульский*. Однако в последние десятилетия в языке появилась новая тенденция — сохранять в прилагательных, образованных от нерусских географических названий, перед суффиксом *-ск-* твердый *л*: *Кызыл* (столица Тувы) — *кызылский*, *Халхин-Гол* (река в Монголии) — *халхин-голский*, *Джамбул* (город в Казахстане) — *Джамбульская область*, *Каражал* (город в Казахстане) — *Каражалский горсовет*. В печати употребляется прилагательное *ямалский*, образованное от названия полуострова Ямал. Вот два примера: «Белый тундровый волк — главный враг ямалского пастуха» («Известия», 17 декабря 1970); «Новое открытие еще раз подтверждает мнение тюменских геологов о нефтеносности глубоких горизонтов Ямалского севера» («Известия», 29 июля 1975).

Необходимо подчеркнуть, что твердость *л* перед суффиксом *-ск-* — явление не только орфографическое, но и произносительное: фонетический строй русского языка разрешает произношение твердого *л* перед согласным *с* (ср., например, *толстый, холст, галстук*).

Эта новая особенность образования прилагательных от географических названий (топонимов) вызвана тенденцией сохранять по возможности без изменений звуковой (фонетический) состав основы таких названий в производных словах (см. об этом заметку «Вычутский или вычужский». — «Русская речь», 1968, № 3, с. 113).

Однако новая тенденция образования прилагательных от топонимов на *-л* не является абсолютным правилом: от некоторых

новых географических названий, в том числе иноязычных, прилагательные все еще образуются со смягчением *л*, например: *Токтогул* (поселок в Киргизии) — *токтогульский*; наряду с прилагательным *ямалский* есть и вариант *ямальский* (Ямальский район Ямало-Ненецкого национального округа).

Следующий вопрос связан с ударением в оттопонимических прилагательных с суффиксом *-ск-*. Читатель А. И. Матковский из города Узловая Тульской области настойчиво подчеркивает, что прилагательное от названия его города — *узловский*, а не *узловско́й*, и подтверждает этот факт, в частности, вырезками из местной прессы. Разногласия по этому вопросу возникли из-за того, что в «Словаре ударений для работников радио и телевидения» (М., 1967) приведено наименование *Узловско́й* район.

Какое же ударение является более правильным: *узловский* или *узловско́й*? Исторически сложившиеся правила русского ударения таковы, что в некоторых случаях язык допускает возможность двойного ударения, выбор же одного из двух возможных вариантов определяется традицией, для каждого конкретного слова индивидуальной.

Именно с таким случаем мы здесь и имеем дело. Факты русского словообразования говорят о том, что в прилагательных с суффиксом *-ск-*, образованных от существительных, имеющих ударение на окончании хотя бы в части форм, ударение возможно и на окончании, и на предсуффиксальном слоге. Сравним, например: *се́ль, се́ла — се́льский* и *мо́ре, моря́ — морско́й*; *слобо́да — слободско́й* (но *Новая слобода́ — новослободский*) и *Бухара́ — бухарский*. Те же две возможности обнаруживаются и в прилагательных, образованных от топонимов на *-ово́й, -ова́я, -ове́* (с ударным окончанием). Сравним: город *Лозова́я* (Харьковская область) — *Лозовско́й район*, поселок *Борова́я* (там же) — *Борбеский район*; но город *Чусово́й* (Пермская область) — *Чусовско́й район*, село *Луговбе́* (Казахская ССР) — *Луговско́й район*. Значит, от названия города *Узлова́я* возможно образование прилагательных *узловский* и *узловско́й*. В этих условиях единственно верным надо признать тот вариант, который утвердился исторически и реально употребляется, то есть *узловский* (см. не только местную прессу, но и, например, новейшее издание справочника «СССР. Административно-территориальное деление союзных республик»).

Суффикс *-ск-* имеет целый ряд разновидностей, вариантов: *-овск-, -инск-, -анск-* и других, представляющих собой расширения этого суффикса. Следующий ряд вопросов связан с употреблением этих вариантов в различных прилагательных.

В. М. Никитин из Рязани пишет: «Есть в Ленинграде Светлановский проспект, названный по комбинату „Светлана“. Назван

проспект ошибочно: ведь от имени Светлана прилагательное — не Светлановский, а Светланинский. Следовательно, проспект должен называться Светланинский». Аргумент тов. Никитина был бы убедителен, если бы речь действительно шла о прилагательном от личного имени. Для таких прилагательных характерно строгое правило: если производящее — имя «мужского» склонения (с нулевым окончанием в именительном падеже), то при образовании прилагательного используется суффиксальный вариант *-овск-*, если же это имя «женского» склонения (с окончанием *-а* в именительном падеже), — вариант *-инск-*. Сравним: *Петр — Петровский* и *Екатерина — Екатерининский*. Но «Светлана» в данном случае — не женское имя, а название производственного объединения. Для прилагательных же, образованных от других групп собственных имен (не являющихся личными именами), нет строгого правила выбора суффиксального варианта *-овск-* или *-инск-* в зависимости от типа склонения производящего слова. Здесь нередко используется вариант *-овск-*, хотя производящее имя имеет в именительном падеже окончание *-а*. Например: *Искра* (газета) — *искровский*, *Аврора* (крейсер) — *авроровский*, *Антанта* — *антантовский*, *Массандра* (топоним) — *массандровский*, *Капابلанка* (фамилия) — *капابلанковский*. Поэтому и при образовании прилагательного *Светлановский* словообразовательные законы не были нарушены.

Преподаватель Е. Г. Самсонова из Москвы выражает недоумение по поводу того, что в русском языке прилагательное от названия острова и республики Куба — *кубинский*, а не *кубанский*: ведь в испанском языке прилагательное от этого топонима — *cubano*, так же как в английском (*cuban*) и в ряде других языков Европы. Добавим к этому, что и в других славянских языках в прилагательных от названия Кубы используется элемент *-ан-*: по-польски, например, это прилагательное звучит как *kubański*, по-чешски — *kubanský*. Тов. Самсонова права в том, что прилагательные от названий стран в русском языке часто оформляются с помощью того суффиксального элемента (как правило, интернационального), который есть в соответствующих прилагательных западноевропейских языков: сравним еще, например, *американский* и англ. *american*; *итальянский* и итал. *italiano*. Но особенность эта не имеет характера непреложного закона. В данном случае прилагательное от названия Кубы образовано без опоры на иноязычные прилагательные, по исконной русской модели — с суффиксальным вариантом *-инск-*, так же, как, например, *Чита — читинский*, *Ялта — ялтинский*. Причиной этого, видимо, было «отталкивание» от прилагательного *кубанский*, уже имеющегося в русском языке и прикрепленного к другому топо-

нему — *Кубань*. Омонимия прилагательных от собственных имен весьма неудобна, вот почему русский язык пошел в данном случае по своему пути, избежав омонимии при помощи использования суффиксального варианта *-инск-*, а не *-анск-*.

Читатель В. Краснов из поселка Чернь Тульской области прислал вырезку из областной газеты «Заря», где в заметке «Встреча с соратниками Рихарда Зорге» члены школьного клуба интернациональной дружбы названы *зоргенцами*. В. Краснов считает, что слово это должно писаться *зоргинцы* — с «суффиксом принадлежности» *-ин-* (заметим сразу же, что приводимые читателем аналогии — *ишугинцы*, *долгушинцы* — неудачны, так как они являются образованиями от фамилий на *-ин* и элемент *-ин-* принадлежит в них производящей основе, а не суффиксу).

Может показаться, что слово *зоргенцы* уводит нас от темы «прилагательные, образуемые от собственных имен»; однако это не так. Существительные с суффиксом *-ец* (во множественном числе *-цы*), связанные по образованию с собственными именами, образуются так же, как прилагательные от этих собственных имен: *Орел* — *орловский* — *орловцы*, *Пенза* — *пензенский* — *пензенцы*, *Толстой* — *толстовский* — *толстовцы*, *Кант* — *кантианский* — *кантианцы*, *Гарибальди* — *гарибальдийский* — *гарибальдийцы* и т. п. Поэтому наличие существительного *зоргенцы* предполагает и возможность существования прилагательного *зоргенский*. Написание обоих этих слов с безударным элементом *-ен-*, а не *-ин-*, находит оправдание в таких присущих современной русской орфографии традиционных написаниях, как *пензенский* и *пензенцы*, *городищенский* и *городищенцы* (от топонима *Городище*) и т. п. (о возможных здесь орфографических колебаниях см. заметку «Охтинский или охтенский?».— «Русская речь», 1968, № 3, с. 114), а также в аналогичных по структуре исходной фамилии образованиях *Фрунзе* — *фрунзенский* — *фрунзенцы*. Написания типа *фрунзенский*, *зоргенский* могут быть объяснены и уже упомянутой тенденцией к сохранению основы производящего слова — собственного имени — неизменной в производных словах.

Некоторые особенности образования прилагательных от собственных имен объясняются не какими-либо общими правилами, а индивидуальной исторической судьбой конкретных слов. Вот только один пример.

Читатель А. М. Антонов из Саратова интересуется, «почему все учреждения в городе Ярославле называются *ярославскими*, а не *ярославльскими*, ведь город называется *Ярославлем*, а не *Ярославом*». Чтобы понять, как образовано данное прилагательное, надо обратиться к исконной структуре топонима *Ярославль*. В древности этот топоним был притяжательным прилагательным

от имени *Ярослав*: первоначально «Ярославль город», то есть город Ярослава (Мудрого). Древний суффикс *-j-* (йот), показатель притяжательности, приведший к изменению первоначального сочетания *ej* в сочетании *вь*, в образовании прилагательного *ярославский*, по-видимому, не участвовал, то есть прилагательное было образовано непосредственно от имени Ярослав. Характерно, что прилагательное от другого, аналогичного по структуре, названия древнего русского города — Переяславля — тоже не сохраняет конечного *-ль*: *переяславский*. А вот от названия города Лихославль образовано прилагательное *лихославльский*, и это говорит о том, что данное прилагательное по времени своего образования — более позднее.

В. В. ЛОПАТИН

Отвечает



Как правильно назвать женщину: ПРОДАВЕЦ или ПРОДАВЩИЦА? ЗАВЕДУЮЩИЙ или ЗАВЕДУЮЩАЯ?

В русском языке для наименования женщины по роду занятий, профессии, должности, общественным обязанностям, принадлежности к организации могут быть использованы существительные как женско-

го, так и мужского рода. Закономерности выбора рода для разных групп слов различны.

1. Крайне немногочисленную группу составляют существительные женского рода, не имеющие мужских соответствий. Они служат, как правило, названиями типично «женских» профессий: *машинистка*, *маникюрша*, *модистка*, *швей-мотористка* и некоторые другие.

2. Один из наиболее распространенных способов наименования лиц по роду занятий в русском языке — использование соотносительных существительных мужского и женского рода (в зависимости от того, к мужчине или женщине относится данное название). Слова женского рода этой группы стилистически нейтральны и не знают каких-либо ограничений в своем употреблении. Сюда относятся суще-

ствительные *актриса, баскетболистка, журналистка, закройщица, монтажница, пловчиха, поэтесса, проводница, танцовщица, телефонистка, учительница* и многие другие.

3. Для названия профессии или должности женщины применяются и существительные мужского рода — так называемые обобщенные наименования лиц. Число подобных существительных, не имеющих женской родовой параллели, достаточно велико в русском языке (по подсчетам специалистов их не менее 200) и постоянно увеличивается. В этот разряд входят такие слова, как *агитатор, агроном, архитектор, бригадир, бухгалтер, водитель, врач, мастер, милиционер, лингвист, психолог, филолог, юрист* и многие другие. От некоторых из этих существительных образуются наименования женского рода, например: *бухгалтерша, врачиха, филологиня*. Однако они или имеют разговорно-просторечную окраску, или представляют собой малоупотребительные, окказиональные образования и поэтому остаются за пределами литературного словоупотребления.

4. Для обозначения профессии женщины употребляются соотносительные наименования мужского и женского рода, которые различаются сферой употребления или определенными смысловыми и стилистическими оттенками: *кассир* —

кассирша, начальник — начальница, продавец — продавщица, секретарь — секретарша и некоторые другие. В официальной обстановке, в разных жанрах строгой деловой речи, где возникает необходимость в точном, «терминологическом» указании на профессию или должность человека, используются только наименования мужского рода. В других условиях общения вполне нормативны, а подчас и желательны, параллельные образования женского рода. Так, к женщине, стоящей за прилавком в магазине, мы обратимся: «Товарищ продавец». Но говоря о ком-то в обиходе, можем сказать: «Она работает *продавщицей*».

Вполне естественно, например, употребление варианта *продавец* в юридическом журнале: «Осужденная М., работавшая продавцом комиссионного магазина..., заявила в суде, что гитюр продавался по 25 рублей за метр» («Бюллетень Верховного Суда СССР», 1977, № 4). И столь же закономерно появление существительного женского рода на страницах художественного произведения (в авторской речи): «До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага...» (В. Распутин. Деньги для Марии).

5. Особую группу среди наименований лиц по роду заня-

тий, должности, профессии и т. д. составляют субстантивированные прилагательные и причастия (перешедшие в существительные). Обычно они употребляются в мужском роде, если относятся к мужчине, и в женском, если относятся к женщине: *вожатый — вожатая, звеньевой — звеньевая, служащий — служащая*. Но некоторые из них могут выступать в форме мужского рода и в том случае, когда обозначают должность женщины. Особые трудности вызывает употребление вариантов *заведующий — заведующая, управляющий — управляющая*. Словарь «Грамматическая правильность русской речи» (М., 1976) дает следующую рекомендацию по их разграничению: «Форма мужского рода используется во всех тех случаях, когда в контексте на первое место выдвигается сообщение о должности или занятии безотносительно к полу называемого лица: *заведующим* утверждается такая-то...» (с. 108). В обиходной письменной и устной речи, указывает словарь, предпочтительна форма женского рода.

Таким образом, в приказах, официальных обращениях, служебной переписке, то есть там, где указание на должность носит самостоятельный, независимый от занимающего ее лица характер, уместнее использовать мужской род: «В нашей

стране совсем не редкость женщина — главный инженер и главный специалист, главный экономист и управляющий строительным трестом» («Работница», 1977, № 1). В том же случае, когда название должности выступает в качестве характеристики данного человека, уместнее форма женского рода: «В числе создателей новинки собеседник называет Евгению Ивановну Дурову, заведующую группой биохимических исследований» («Правда», 3 января 1978).

При этом слово *заведующая* часто используется в женском роде и в таких контекстах, где указание на должность женщины в той или иной степени самостоятельно: «Как нам сообщили, после вмешательства прокуратуры М. Г. Геворкян в должности заведующей секцией восстановлена» («Человек и закон», 1977, № 3). По-видимому, это связано с тем, что «заведование» все в большей степени становится родом занятия женщины. В названии таких должностей, как «заведующая детским садом», «заведующая отделением», «заведующая библиотекой» и многих других, очевидно, более естественным оказывается употребление формы женского рода. Такое употребление влияет на выбор родового варианта и в других сочетаниях.

С. И. ВИНОГРАДОВ



ДЕКРЕТУ О РЕФОРМЕ ОРФОГРАФИИ — 60 ЛЕТ

10 октября 1918 года Совет Народных Комиссаров утвердил Декрет о введении в нашей стране новой русской орфографии. В нем сообщалось, что новая орфография вводится «в целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения школы от непроизводительного труда при изучении правописания».

Этим декретом подтверждался декрет о введении нового правописания, принятый 23 декабря 1917 года Народным комиссариатом просвещения. Появление декрета Совета Народных Комиссаров было вызвано необходимостью расширить сферу применения новой орфографии, утвердить ее во всей советской печати. Кроме того, он устранил из декрета Народного комиссариата просвещения два правила правописания, допускавшие колебания в письме: о желательном употреблении буквы *ѣ* и о допущении двойного (слитного и раздельного) написания одних и тех же наречий (*встороне и в стороне, втечение и в течение, сверху и с верху, вдвое и в двое*). Указанные два правила, созданные специально для школы, не могли иметь применения (особенно второе) в печати, где требуется определенность и устойчивость.

Поскольку новое правописание было введено двумя следовавшими друг за другом правительственными декретами, то реформу русской орфографии называют реформой 1917—1918 годов. Она была единственной в истории русского письма. Значение этого акта, предпринятого правительством молодой Советской Республики, трудно переоценить. Реформа 1917—1918 годов устранила те расхождения, которые за длительное время произошли между звуковым строем русского языка и письменным его отражением.

Известно, что звуковой строй языка с течением лет изменяется. Письмо же, являющееся условным кодом звукового языка, обычно отстает от звуковых изменений. Однако если расхождения звучащей речи и буквенного письма становятся очень значительными (как, например, в английском), то буквенное письмо приобретает в каких-то своих звеньях иероглифический характер. Последнее же для буквенного письма — факт нежелательный. Поэто-

му время от времени необходимы некоторые урегулирования, усовершенствования орфографии.

Подготовка реформы русской орфографии была начата еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Сначала борьба за упрощение русской орфографии велась только в педагогических кругах. В конце XIX века проблемы русского правописания обсуждались на орфографических совещаниях в Петербурге; в начале XX века с орфографическими проектами выступили Московское, Казанское, Одесское педагогические общества. Под влиянием этих выступлений в 1904 году вопросами орфографии занялась Академия наук — самая высокая научная инстанция. Была создана комиссия по вопросу о русском правописании, в которую вошли 55 человек: представители Академии наук, педагогических обществ, профессора, приват-доценты, преподаватели средней и начальной школы, делегаты различных ведомств и органов печати. На единственном заседании этой комиссии, состоявшемся 12 апреля 1904 года, за упрощение русского правописания высказалось большинство членов комиссии. Здесь же было принято решение отменить лишние буквы русской азбуки.

Для разработки рекомендаций по упрощению русского правописания, не связанных с исключением букв из алфавита, комиссия избрала орфографическую подкомиссию, в которую вошли академики А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов (председатель), А. И. Соболевский, Ф. Е. Корш, профессора И. А. Бодуэн де Куртенэ и Р. Ф. Брандт, приват-доцент П. Н. Сакулин и, как кандидаты, профессор С. К. Булич, приват-доцент Н. М. Каринский и Н. К. Кульман. Активное участие в работе подкомиссии принял представитель Казанского педагогического общества Е. Ф. Будде и В. И. Чернышев (тогда преподаватель гимназии).

В мае 1904 года было опубликовано «Предварительное сообщение орфографической подкомиссии», предлагавшее проект нового правописания. В него были включены постановление комиссии об отмене лишних букв и предложения подкомиссии. Однако подготовленный проект был встречен в штыки реакционными правительственными кругами, консервативной печатью и даже частью ученых. Царскому правительству была негодна реформа как прогрессивное нововведение.

Окончательный проект реформы, упрощающей русскую орфографию, был готов к лету 1912 года и опубликован под названием «Постановления орфографической подкомиссии». Но противников реформы оказалось так много, что опять она оказалась «замороженной». И опять именно учителя выступили за упрощение русской орфографии. По ходатайству I Всероссийского съезда преподавателей русского языка (проходившего в Москве с 27 декабря

1916 г. по 4 января 1917 г.) вопрос об орфографической реформе был поднят в Академии наук. В ответ на ходатайство съезда Общего собрания АН 29 марта 1917 года избрало новую специальную орфографическую комиссию по возобновлению вопроса об упорядочении русского правописания. В нее вошли академики Е. Ф. Карский, Н. К. Никольский, С. Ф. Ольденбург, В. Н. Перетц, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский (Ф. Ф. Фортунатов в 1914 г. умер). Кроме того, Общее собрание АН предоставило комиссии право пополнять свой состав представителями учреждений и отдельными лицами, интересующимися орфографическими вопросами.

Эта комиссия, признав себя подготовительной, постановила образовать Совецание по упрощению правописания. В Совецание вошли члены подготовительной комиссии, Орфографической комиссии 1904 года, Отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности, представители ученых и просветительных учреждений и некоторые другие лица. Совецание состоялось 11 (24) мая 1917 года под председательством академика А. А. Шахматова. От имени подготовительной комиссии А. А. Шахматов предложил для обсуждения проект реформы правописания, который был принят и опубликован как «Постановления Совецания по вопросу об упрощении русского правописания» (в проекте было 13 пунктов, все они вошли в текст декрета от 23 декабря 1917 г.).

Общее собрание Академии наук 13 мая 1917 года одобрило и приняло постановления этого совещания. 17 мая 1917 года был опубликован циркуляр о введении с нового учебного года нового правописания в школах. Однако он не имел эффективного действия, так как нужны были правительственные декреты. Такие декреты были приняты 23 декабря 1917 года и 10 октября 1918 года. Таким образом, лишь при Советской власти удалось провести реформу русской орфографии.

Реформа 1917—1918 годов была актом первостепенного общественного и культурного значения. Она значительно упростила и «современила» наше письмо. Так, были устранены написания церковнославянских окончаний *-аго, -яго* у прилагательных, причастий и местоимений (*доброаго, пятаго, котораго, синяго* и т. п.): они были заменены на *-ого, -его* (*доброаго, пятого, которого, синего*). Было отменено разграничение местоимений *одни, они* (для слов мужского и среднего рода) и *однѣ, онѣ* (для слов женского рода): остались формы *одни, они* (для слов любого грамматического рода).

Прилагательные, причастия и местоимения женского и среднего рода в именительном и винительном падежах множественного числа писали с окончаниями *-ья, -ия*, а мужского рода — *-ые*,

-ие: «В саду росли большие старые дубы и большия старья липы». Реформа устранила это различие: во всех трех родах во множественном числе эти части речи имеют одинаковые окончания -ые, -ие. Была уничтожена форма ея: «Я видел ее и ея сестру» (оставлена только ее): «Я видел ее и ее сестру».

Было изменено правило о написании приставок на -з, часть из которых — без-, чрез-, через- — писалась по морфологическому принципу (всегда с буквой з), а часть — воз-, низ-, из-, раз- — по фонетическому (сохраняя, правда, в виде исключения з перед с: *разсыпать*). Все приставки на -з было решено писать на основе фонетического принципа: з перед последующими звонкими согласными и с — перед глухими. Были упрощены правила переноса. Отменены буквы ѣ (ять), ѳ (фита), і (десятеричное), а также написание буквы ъ в конце слов и частей сложных слов; ср. дореформенные написания *хлѣб, лѣсъ, орвографія, контрѣадмираль*.

До реформы 1917—1918 годов особенно трудно было правильно употреблять букву ѣ (ять). Нужно было просто запоминать, в каких словах и формах слов надо писать эту букву: *вѣсть, сѣмя, тѣло, колѣно, бѣлый, в избѣ, лѣто, кромѣ, вѣра* и т. д., а в каких — е: *сестра, колесо, время, верба, небо* и т. д. Приходилось даже заучивать специально написанные для этой цели различные стихи, составленные только из слов с ѣ. Знание, в каких словах писать ѣ, являлось своего рода социальным цензом. Оно, как говорили, отделяло дворян от простолюдинов и грамотных от неграмотных. За сохранение в алфавите именно этой буквы упорно боролись консервативно настроенные круги.

В декрете от 10 октября 1918 года говорилось, что реформа правописания вводится постепенно и не допускается принудительное переучивание тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания. Проведенный проект реформы отличался от проекта орфографической подкомиссии 1912 года тем, что из последнего были исключены два пункта: об уничтожении написания мягкого знака после шипящих в некоторых категориях слов (вместо *ночь, беречь, не плачь* писать *ноч, береч, не плач*) и об обозначении буквой о после шипящих ударного звука [о] (вместо *жѣны, течѣт — жоны, течот*). На совещании А. А. Шахматов объяснил, что эти два предложения орфографической подкомиссии могут «значительно затруднить применение нового правописания». Подчеркнем, что А. А. Шахматов говорил не о трудностях утверждения нового проекта реформы, а обращал внимание на трудности применения нового правописания: «...вместо того, чтобы писать *чорный — чернее, счот — счета*, как предлагала Орфографическая комиссия, допускаются написания *черный, счет*, чтобы

не вносить буквенных различий в коренной части слова при различных его изменениях».

Предложения подготовительной комиссии, возглавлявшейся А. А. Шахматовым,—сохранить прежние правила о написании мягкого знака после шипящих и о написании после шипящих букв *е/о* — были приняты на совещании 11 мая 1917 года без каких-либо споров и случайностей голосования (в отличие от многих других пунктов). Доклад готовил А. А. Шахматов; в архиве АН СССР хранится рукопись этого доклада, написанного его рукой. Осторожность, проявленная А. А. Шахматовым на последнем этапе подготовки реформы, как оказалось, была исторически оправдана.

Все перечисленные изменения орфографии столкнули наше письмо с архаическими рельсов. Реформа совпала со сломом всей старой государственной машины. Страна вступала в новую историческую эпоху, которая открыла доступ широким народным массам к общей культуре.

В брошюре «Реформа русского правописания» (Пг., 1917), посвященной защите новой орфографии, П. Н. Сакулин писал: «На развалинах погибшего абсолютизма создается свободная Россия. Сверху донизу перестраивается она на широких демократических началах. В такой момент не может остаться незатронутой ни одна сколько-нибудь значительная сторона народной жизни. Вопрос о народном просвещении приобретает ныне жгучую остроту. Ведь от степени культурности и сознательности масс зависит все наше будущее. На очереди — демократизация школы, демократизация знания... Предпринятая реформа правописания составляет органическую часть общего плана культурно-демократических преобразований. Недаром один учитель предлагал назвать реформированную азбуку *а л ф а в и т о м с в о б о д ы*.

Русский народ творит себе новую жизнь. Пусть же одним из актов его творчества будет новое правописание».

То, что реформа 1917—1918 годов была подготовлена авторитетной комиссией, имело важное значение. Этот факт положительно оценил Владимир Ильич Ленин. Его слова дошли до нас в изложении А. В. Луначарского:

«Я, конечно, самым внимательным образом советовался с Владимиром Ильичем Лениным перед тем, как ввести этот алфавит и это правописание. Вот что по этому поводу сказал мне Ленин. Я стараюсь передать его слова возможно точнее.

„Если мы сейчас не введем необходимой реформы — это будет очень плохо, ибо и в этом, как и в введении, например, метрической системы и григорианского календаря, мы должны сейчас же признать отмену разных остатков старины. Если мы наспех

начнем осуществлять новый алфавит или наспех введем латинский, который ведь непременно нужно будет приспособить к нашему, то мы можем наделать ошибок и создать лишнее место, на которое будет устремляться критика, говоря о нашем варварстве и т. д... Против академической орфографии, предлагаемой комиссией авторитетных ученых, никто не посмеет сказать ни слова, как никто не посмеет возражать против введения календаря. Поэтому вводите ее (новую орфографию) поскорее...».

Такова была инструкция, которая дана была нам вождем. После этого мы немедленно законодательным путем ввели новый алфавит» (А. В. Луначарский. Латинизация русской письменности.— «Культура и письменность Востока». Книга VI. Баку, 1930).

Иногда считают орфографической реформой те изменения в русском письме, которые провел еще Петр I. Но это была лишь реформа графики, и она совсем не касалась правил написания отдельных слов, поэтому ее нельзя считать орфографической реформой. Упорядочение русской орфографии, проведенное в 1956 году, также не было реформой правописания, оно не затронуло его основ, хотя изменения в правописании были довольно заметны. Изданные в 1956 году «Правила русской орфографии и пунктуации» — первый в истории русского правописания единый полный свод хорошо сформулированных и научно обоснованных правил орфографии и пунктуации. Но возможности для совершенствования нашего правописания, разумеется, этим сводом не исчерпаны.

Возвращаясь к оценке реформы 1917—1918 годов, отметим, что вся в целом история создания и проведения ее в жизнь весьма поучительна. Она хорошо показывает, с каким трудом, как неохотно общество соглашается на изменение привычного правописания. Правительственными кругами буржуазного общества она воспринималась как покушение на некие его священные устои. Проявляя повышенную чуткость к языку и эстетике слова, даже известные писатели не всегда правильно и справедливо оценивали изменения, вводимые в привычный им облик слов. Известны отрицательные оценки проектов реформы русской орфографии 1904, 1912, 1917—1918 годов в целом или их отдельных пунктов Л. Н. Толстым, В. Брюсовым, Вяч. Ивановым и др.

Активными борцами за продиктованную временем необходимость упрощения русского правописания всегда выступали передовые учителя и ученые. Советские языковеды и педагоги, имея положительный опыт истории, с успехом продолжают дело совершенствования русской орфографии.

В. Ф. ИВАНОВА
Ленинград

Стилистическая палитра

Н. М. Языкова



Поэзия Н. М. Языкова (1803—1846) занимает видное место в истории русского романтизма. Его имя называли вслед за Пушкиным, рядом с Давыдовым и Баратынским. Языков сумел внести существенный вклад в развитие русской поэзии. Его стихи отличаются оригинальным содержанием, смелыми поэтическими образами, темпераментом и искренностью выражения.

Яркий и оригинальный талант Языкова восхищал современников. «Младой певец, дорогою прекрасной Тебе идти к парнасским высотам», — так приветствовал молодого Языкова Дельвиг.

«Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать... Он всех нас, стариков, за пояс заткнет», — писал Пушкин Вяземскому после того, как прочел стихотворение «Тригорское».

Многие темы и настроения поэзии Языкова были созвучны идеям поэтов-декабристов. Гражданские мотивы, утверждение национальной самобытности русской культуры, воссоздание в поэзии исторического прошлого — все это позволяет поставить творчество Языкова рядом с творчеством поэтов-декабристов. Декабристы принесли в русскую литературу новое направление, осененное идеей борьбы и свободы — революционный романтизм. В русле этого направления развивалось и творчество Языкова. Непосредственно с выступлениями декабристов у Языкова связано два стихотворения: «Извинение» и «Памяти Рылеева».

Первое написано по поводу вступления на престол Николая I. Верный себе, Языков называет вещи своими именами: «На троне глупость боевая!» — вот его определение нового правителя. Он не питает иллюзий по поводу положительных перемен в жизни царской России:

А что пророчат мне мечты?
Предвижу дарство пустоты
И прозаические годы...

Разгром восстания, казнь декабристов потрясли Языкова. Негодование поэта ярко выражено в стихотворении «Памяти Рылеева»:

Рылеев умер, как злодей!
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей.

Говоря о стилистической палитре Языкова, нельзя обойти вниманием его студенческие песни 20-х годов, вызвавшие отклики современников: «...Какой избыток чувств и сил, Какое буйство молодое!»— восклицает Пушкин в своем послании «К Языкову». Действительно, дерптские песни Языкова насыщены бьющей через край радостью, полнотой жизни и счастья.

Друзья! бокалы к небесам!
Обет правителю природы:
«Печаль и радость — пополам,
Сердца — на жертвенник свободы!»

Дерптские песни отражают лучшие черты его вольной легкой поэзии. Здесь и острый политический намек («Наш Август смотрит сентябрем — Нам до него какое дело...») и бесстрашная дерзость, задорный вызов самодержавию («Мы все равны, мы все свободны, Наш ум — не раб чужих умов...»).

Песни Языкова оптимистичны. Возьмем, например, сюжет с пловцом, к которому обращались многие авторы. Как правило, пловец или погибает («Тонет, тонет мой челнок» у Полежаева), или терпит крушение («Арион» у Пушкина). У Языкова в песнях мы наблюдаем новый, жизнеутверждающий мотив. Его пловец — победитель грозной морской стихии. Все три песни на этот сюжет пронизаны духом борьбы, но в первой наиболее ярко прозвучал мотив гимна всепобеждающей силе и смелости человека:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.

Мужественный, энергичный стих, яркий сильный язык, устремленность вперед, уверенность в победе — все это создало стихотворению славу одного из лучших произведений Языкова.

В. И. Кулешов, подготовивший одно из изданий языковских стихов, писал по поводу строки «Глубже бездна упадет»: «Логически последнее неправильно: бездне некуда падать, она бездонная пропасть, а поэтически это прекрасно, физически возможно в колыпании волны». А у Языкова такое встречается поистине на каждом шагу:

Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам.

Молитва

Вал — к берегам? Все-таки ведь не к берегам, а к берегу, если это один вал. Но — как всегда в таких случаях — «логически неправильно, поэтически прекрасно».

Обращает на себя внимание склонность Языкова-«песенника» к повторам, анафорам, симметрии припевов и перепевов — вообще ко всему, что свойственно поэтике и стилистике русских песен,

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой
Ради сладкого труда,
Ради вольности высокой
Собралися мы сюда.

Помним холмы, помним доли,
Наши храмы, наши села,
И в краю, краю чужом
Мы пируем пир веселый
И за родину мы пьем!

Тут и начальные повторы (анафоры) — *ради-ради*, и внутри-строчные — *и в краю, краю чужом, из страны, страны далекой*, и симметрия полустипий — *помним холмы, помним доли* (сравним: *вьюга злится, вьюга плачет* — та же ритмическая фигура).

Развивают темы его вольных песен дружеские послания первой половины 1820-х годов, в которых еще более звучит мотив благородного служения Родине. В них учит поэт молодые сердца не унижаться перед самодержавием и не считать «закон царя» «законом судьбы».

Прошли те времена, как верила Россия,
Что головы царей не могут быть пустые
И будто создала благая дань творца
Народа тысячи — для одного глушца;

У нас свободный-ум, у нас другие нравы:
Поэзия не льстит правительству без славы;
Для нас закон царя — не есть закон судьбы,
Прошли те времена — и мы уж не рабы!

Н. Д. Киселеву

Медлительные и тяжеловесные стихи, написанные шестистопным ямбом, напоминают сатиры XVIII века. Однако остальным посланиям этого периода свойственны лучшие и характерные черты свободного поэтического почерка Языкова, его восторженная, праздничная интонация:

Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края?
Там солнце кажется светлей,
Там радостней весна златая.

Л. И. Кулибину

К периоду расцвета поэтического дарования Языкова относится его известный пушкинский «цикл» — «Тригорское», послания к Пушкину, к няне Пушкина... Эти стихи навеяны встречами с Пушкиным, очаровавшим его талантом, умом, свободолюбием; яркими впечатлениями тех дней, которые он провел в Тригорском и окрестных местах. Эти стихи волнуют, воскрешают в нашей памяти знакомые и дорогие картины... Тригорское, Сороть, Арина Родионовна воспринимаются нами как реальное окружение Пушкина. «Свет Родионовна, забуду ли тебя?» — ласково обращается к ней поэт. — «Всегда приветами сердечной доброты Встречала ты меня, мне здравствовала ты»... (К няне А. С. Пушкина).

Или О ты, чья дружба мне дороже
Приветов ласковой молвы,
Милее девицы пригожей,
Святее царской головы!

А. С. Пушкину

Выразительные поэтические средства, которыми пользуется поэт в своих стихах, необычайно разнообразны. Яркие сравнения, красочные эпитеты, смелые метафоры, о которых пишут почти все исследователи поэзии Языкова, выдвигают его в ряд наиболее самобытных и оригинальных русских поэтов. В борьбе за самобытность своей поэзии Языков искал путей сближения поэтического языка с разговорной речью и с национальной русской языковой основой. Его сложные слова-определения придают особый колорит всей его поэзии: *сновиденье, песнопенье, благовидный, огнецветный, быстрокрылый, многоцелебный, прохладно-сладостный, чудесно-животворный, безоблачно-прекрасный, лазурно-светлый* и т. п.

Поражает в поэзии Языкова необычное сочетание эпитетов с определяемым словом: *разобманутые надежды, пленительная радость, встречающая радость, возвышенная мечта, пылкая мечта, разгоряченная мечта* и т. д. Яркой выразительности стихов Языкова способствуют многочисленные сравнения, которые заставляют нас живее чувствовать написанное. Так, очи сравниваются с сапфирами, кудри с золотистым шелком, зубы — перлы, грудь — лебединая, поступь — павлиная. Сила любви сравнивается с искрой Зевсова огня. Любимая сравнивается с солнцем — «мое светило».

Языков широко использует яркие, красочные, точные эпитеты, придающие стихам особенную эмоциональность. Так, в элегии «Опять угрюмая, осенняя погода» несколько таких «нарядных», броских эпитетов: красавица — «звезда с *лазурно-светлыми*... очами, с улыбкой *сладостной*, с *лилейными* плечами» (сравнение, содержащее в себе эпитет). В другой элегии покрытые снегами горы — это «громады *снеговершинные*»; «задремавшие небеса» — эпитет-метафора, создающий образ сумерек с чуть потемневшим небом; эпитет-метафора «*смеющиеся долины*» создает в воображении картину солнечной, праздничной, нарядной природы.

А вот излюбленный у Языкова прием повторяющихся и уточняющих эпитетов, чередование которых открывает нам всю меру неприязни поэта к надоевшему ему стихотворцу, который оказывается к тому же своеобразным двойником самого поэта:

А сам он неуклюж, и рыж, и долговяз,
И немец, и тяжел, как оный камень дикий.

Смешение в этой элегии лексики высокого стиля с простыми разговорными словами приводит к ироническому звучанию. Языков

обогащает поэтический стиль введением в него бытовых и просторечных слов:

И, как сибирская пищуха,
Моя поэзия поет.

Настоящее, 6 апреля 1825

Своеобразны и такие, например, стилистически-контрастные фигуры: «пылкая мечта», «мою надежду чаровала», «прекрасный ангел песнопений», «мой юный гений» и вдруг — «Теперь стихи мои — хоть брось!». Подобное сочетание поэтической лексики с разговорной характерно для Языкова.

Поэзия Языкова полна неожиданностей. Дерптский студент, свободолюбивый, переполненный «буйством сил» превращается позже в московского славянофила, становится приверженцем древнерусской старины, благочестия. Правда, В. Г. Белинский приметыв славянофильствующего Языкова увидел уже в послании к «М. П. Погодину», который прислал поэту в подарок чернильницу, за что и был удостоен следующих строк:

«Благодарю тебя сердечно
За подареньице твое!
Мне с ним раздолье! С ним житье
Поэту! Бойко, быстротечно,
Легко пошли часы мои
С тех пор, как ты меня уважил,
По-стихотворчески я зажил,
Я в духе!..

В этом послании поэт не проявил открыто своих славянофильских симпатий и убеждений (гораздо определеннее все это прозвучало в ряде других языковских стихотворений), зато язык и стиль — образец того исконного начала, которое неизбежно сочетается с культурой славянофильства. В этом же послании речь идет об отказе поэта от своего прежнего вольнолюбивого стиля.

Каким бы странным ни казалось превращение Языкова в славянофила, его нельзя признать совершенно неожиданным. Черты «предславянофильского» стиля давали о себе знать еще в студенческие годы. В конце 20-х годов написано послание А. Н. Степанову — приятелю поэта, собиравшемуся отправиться на учебу за границу, в Германию. Языков напутствует его следующим образом:

Не окрестится в немчуру
Твой дух деятельный и твердый,
.....
Сберет сокровища веков
И посвятит их православно
Богам родимых берегов!
А. Н. Степанову

Выпады против «немчурь» и слово *православно* — все это звучит очень по-славянофильски. Так что выбор между «западничеством» и «славянофильством» был, пожалуй, predetermined заранее в пользу последнего.

С другой стороны, поздний Языков всегда был рад подчеркнуть, что он остался тем же (несмотря на бремя забот и недуг) студентом и не порывает окончательно с прежним «студенческим» стилем.

И действительно, приглядевшись пристальнее, убеждаешься, что в «студентстве» и «славянофильстве» Языкова и впрямь много общего. Став славянофилом, поэт отнюдь не превратился в смиренника. Тот вариант славянофильского стиля, который культивируется, например, в тютчевском стихотворении «Эти бедные селенья» (символ христианского смирения и терпения), остался в целом чужд Языкову. Его славянофильство было воинственным и студенчески — буйным. И старина, воспеваемая Языковым, не только благостная и святая, но и героическая. Знакомый уже нам стремительный стиховой темп свойствен и его поздним стихам так же, как он свойствен вакхическим песням былых (20-х) годов:

Я здесь! — Да здравствует Москва!
Вот небеса мои родные!
Здесь наша матушка — Россия
Семисотлетняя жива!

Ау!

Произведения Языкова пережили его время, а политические и патриотические стихотворения поэта, его вольные песни и превосходная пейзажная лирика представляют для нас нетленную ценность.

Е. И. ХАН

Как известно, в 1979 году будут отмечаться юбилеи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. А. Ерылова, А. Н. Радищева. Читатели «Русской речи» смогут познакомиться со специально подготовленными публикациями о жизни и творчестве этих замечательных классиков русской литературы.



*Н. И. Лобачевский.
Портрет работы художника
Л. Крюкова*

Известно, что гениальный М. В. Ломоносов внес большой вклад во многие области точных и гуманитарных наук — физику, химию, астрономию, филологию, философию и др. Он, по определению А. С. Пушкина, «был первым русским университетом» (см. статью И. Ф. Протченко «М. В. Ломоносов и его труды об изучении и преподавании отечественного языка». — «Русская речь», 1978, № 1). Богатой одаренностью и разнообразностью интересов отличались и многие другие русские ученые, в частности представители естественных, или точных, наук. Их суждения о языке, его месте в жизни народа, о роли языка в науке, в познании законов развития природы и общества и т. п., к сожалению, не обобщены и не известны не только широкому кругу читателей, но и специалистам-лингвистам.

Статья кандидата физико-математических наук А. Т. Бондратьева посвящена характеристике лингвистических взглядов и суждений об изучении и преподавании языка русского математика, создателя неевклидовой геометрии Николая Ивановича Лобачевского. Она, несомненно, заинтересует читателей «Русской речи».

В. Д. Бондалетов



ВЫДАЮЩИЙСЯ МАТЕМАТИК О ЯЗЫКЕ

Создание великим русским ученым Николаем Ивановичем Лобачевским неевклидовой геометрии в 1826 году явилось подлинной революцией в математике. Это открытие обессмертило его имя. Н. И. Лобачевский (1792—1856) был не только гениальным ученым, но и выдающимся университетским деятелем, педагогом и просветителем, организатором народного образования. Почти всю жизнь он провел в Казани. С 1827 по 1846 годы — ректор Казанского университета, с 1846 по 1855-й работал помощником попечителя Казанского учебного округа. Около 20 лет Лобачевский стоял по существу в центре школьной жизни этого большого края. Данная сторона деятельности ученого получила освещение в книге: Н. И. Лобачевский. Научно-педагогическое наследие. Руководство Казанским университетом. Фрагменты. Письма (М., «Наука», 1976).

В знаменитой речи «О важнейших предметах воспитания» (1828), являющейся оригинальным памятником русской педагогической мысли, Н. И. Лобачевский высказал свои взгляды на основные вопросы воспитания и образования. Богатство мыслей и чувств, чеканный и выразительный слог придают речи большую силу. Она и сейчас читается с интересом, оказывая большое эмоциональное воздействие. Касаясь роли языка в развитии просвещения, Лобачевский говорил: «Как бы то ни было, но в том надобно признаться, что не столько уму нашему, сколько дару слова одолжены мы всем нашим превосходством... Слова, как бы лучи ума его [человека], передают и распространяют свет учения. Язык народа — свидетельство его образованности, верное доказательство степени его просвещения» (здесь и ниже цитаты приведены по названной книге «Н. И. Лобачевский. Научно-педагогическое наследие»).

В ряде предписаний Лобачевского руководителям учебных заведений раскрывается значение родного языка как основы наци-



ональной культуры и национального самосознания, его особая роль в развитии самостоятельного мышления учащихся. Уделяя большое внимание улучшению преподавания русского языка, Лобачевский призывал учителей воспитывать вкус, уважение и любовь к русскому языку и родной литературе: «Надобно понимать и внушать ученикам, что наш язык один сохранил дух древних... Надобно понимать и потом уметь пользоваться преимуществом своего языка, не подражая другим с их недостатками».

В отношении директору училищ Саратовской губернии (1846) Лобачевский, поощряя учителей за их «похвальное стремление и результаты дела», пишет: «Может быть, учителя сами бывают виновны в том, что, занимаясь с учениками разбором знаменитых писателей, забывают обращать внимание на то, что, кроме хорошего слога, здесь представляются образцы хорошего, обдуманного содержания и порядка в мыслях». Ученый подчеркивает, что язык является «первым основанием народности», с падением которой утрачивается и язык; критикует распространенное среди дворянства увлечение французским языком в ущерб русскому: «Знать иностранные языки похвально, но не знать своего, не постигать духа в своем отечественном языке постыдно. Изучение иностранных языков даже в том отношении полезно, что помогает к изучению природного. В сравнении двух языков открывается особенность, которая каждому принадлежит. Если мы видим, что в лучшем сословии русских пренебрегают своим языком и тщеславятся познанием иностранного, то надобно сожалеть об этом и называть это жалким событием нашего времени».

В 1844 году в учебных заведениях Казанского учебного округа вводятся сочинения и литературные беседы. Во многих документах, написанных Н. И. Лобачевским, раскрывается воспитательное и образовательное значение новых форм углубленного изучения родного языка, воспитания нравственных качеств учащихся, закрепления пройденного материала, развития творческих качеств личности. Спустя два года после введения в школах сочинений и литературных бесед, он дает учителям ценные методические наставления: «Усмотренная в некоторых учениках склонность к риторическим украшениям, нестрогости выражений и дикая фантазия... возлагают также на учителя словесности обязанность забо-

таться, чтоб сочинения писаны были ясно, изобиловали бы количеством мыслей, а не украшений, которые допускать только тогда, когда ими выражается особенная мысль или действительно усиливается выражение».

В предписаниях директору Пензенского дворянского института Н. И. Лобачевский говорит об ознакомлении учащихся с образцовыми сочинениями на русском и иностранном языках, об улучшении преподавания словесности: «...Хороший слог и свобода выражаться не иначе могут быть приобретаемы, как чтением образцовых сочинений. [...] Должно удерживать учеников от описательных сочинений, которые при их возрасте могут только заключаться в наборе слов, тогда как другого рода сочинения приносят двоякую пользу: повторением предметов учения и содержанием, где слог изощряется на мыслях ясных, на выражениях определенных. [...] Теория в словесности принесет весьма мало пользы, если она не бывает соединена с пояснительными примерами при чтении образцовых писателей с указанием на такие правила при упражнениях. Ошибки в сочинениях учитель обязан делать поучительными для всех своих слушателей, потому что погрешности заставляют более чувствовать необходимость и пользу теоретически составленных правил, нежели сколько может понимать ученик эти правила в теории или на примерах, достойных подражания».

Обращая внимание учителей на особенности преподавания старославянского языка, Лобачевский рекомендует при этом выра-

Казанский университет. Фотография конца 1890-х — начала 1900-х гг.





батывать у учащихся навык исторического подхода, рассматривать языковые явления в их развитии, подчеркивать особенности изучаемых языков: «...Следует рассмотреть ближе, что в преподавании славянского [старославянского] языка надобно удержать из тех способов, которые признаются лучшими для изучения вообще всякого языка. Потом надобно обратить внимание на то, что в изучении славянского языка представляется особенного. Славянский язык уже мертвый, который сам по себе более не употребителен. Итак достаточно, когда мы довольствуемся понимать только на нем писанное. [...] Славянский язык надобно изучать еще с тою целью, чтобы узнать здесь корень и дух языка, прибавляя тем новое пособие к познанию языка русского. [...] Далее, учение славянского языка должно состоять в толковании словосочетания на примерах при чтении образцов, сравнительно с русским языком...».

Будучи ректором, Н. И. Лобачевский оказал большое влияние на уровень преподавания восточных языков, превратив Казанский университет в важный центр востоковедения.

Лобачевский положил начало «Ученым запискам Казанского университета» (1834) и развил издательскую деятельность. В предисловии к первой книге «Ученых записок» великий математик высоко оценил значение печатного слова для распространения науки и культуры: «Печатанию, как будто второму дару слова, новейшие времена обязаны самой большой частью своей образованности. Если науки так удачно и во многих отношениях сравнены со светом, который открывает глазам до того невидимые в темноте предметы, то сходство сделалось еще совершеннее, когда тиснение книг позволило с такой быстротой распространять наши познания. Вечером родившаяся мысль в уме одного человека, утром повторяется тысячи раз на бумаге и разглашается потом во все концы обитаемой земли. Так искра, вспыхнувши в одной точке, проливает лучи мгновенно и далеко в окружности. Так свет ума, подобие дневного света, расширяется и силится освещать. Так люди, преданные наукам, не могут противиться желанию писать, печатать свои открытия, свои мнения и толкования».

А. Т. КОНДРАТЬЕВ
Пенза

КОНСТИТУЦИЯ

Существительное *конституция* (лат. *constitutio* — ‘учреждение, установление, устройство’) входит в состав интернациональной лексики. В значении ‘основной закон государства’ оно употребляется во многих современных языках.

Однако лексическая равнозначность этого слова в разных языках отнюдь не свидетельствует о социальной равнозначности самих конституций — законодательных актов, обладающих высшей юридической силой. Дело здесь не только в особенностях содержания конституций, принятых в разных странах, а, прежде всего, в том, что они законодательно закрепляют основы политической, экономической и правовой систем государств с различным общественно-политическим строем.

Первоначально *конституция* — термин римского права. Конституциями назывались различные императорские предписания (эдикты, декреты, рескрипты и мандаты), со временем получившие законодательную силу.

В средние века термин *конституция* широко использовался католической церковью для обозначения папских посланий, называвшихся также буллами и энцикликами. Эти послания имели силу законов и входили в церковное каноническое право.

В средневековье слово *конституция* находило применение и у светской власти. Известны, например, так называемые «кларендонские конституции» — 16 статей, составленных во второй половине XII века по распоряжению английского короля Генриха II, в которых предусматривалось ограничение власти английских церковных судов и подчинение их светскому королевскому суду.

Как видно из приведенных примеров, термин *конституция* служил для обозначения разных по своему характеру нормативных актов, выражавших волеизъявление лиц,

обладавших высшей государственной или церковной властью.

Использование существительного *конституция* в значении 'основной закон государства' связано с образованием конституционных монархий и установлением в ряде стран республиканской формы государственного устройства. Так, в конце XVIII века принимается конституция США (1787); сменяя друг друга, издаются конституции (1791, 1793, 1795) во Франции, переживающей буржуазную революцию.

В эпоху буржуазных революций *конституция* не только становится одним из наиболее употребительных политических терминов, но и приобретает определенную идеологическую окраску, что находит свое выражение в особенностях его использования представителями различных политических групп. Например, мяскадены (прозвище контрреволюционной «золотой молодежи» Франции), преследуя после падения якобинской диктатуры сторонников якобинцев, часто пускали в ход дубинки, которые со злорадством называли *la constitution* (конституция).

По данным картотеки «Словаря русского языка XI — XVII веков» в русских текстах *конституция* появляется во второй половине XVII века. Поначалу оно — типичный «варваризм», то есть слово, обозначающее понятие, отсутствующее в русской жизни. Впервые оно встречается в грамотах царя Алексея Михайловича, в которых речь идет о взаимоотношениях между Россией и Польско-Литовским королевством. Так, в грамоте 1665 года говорится: «Да мы жъ Великій Государь... посылали къ нему Яну Казимеру Королю нашихъ Царского Величества великихъ и полномочныхъ пословъ... чтобъ Янъ Казимеръ Король памятуя вѣчное докончанье и посолскіе договоры, и соймовые свои уложенья и констытуцыи, велѣль въ тѣхъ вышеименованныхъ дѣлѣхъ исправленье учинити...» (Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссіею, т. 4, СПб., 1842). Особенно часто во второй половине XVII — начале XVIII века конституциями в русских текстах называются законы и постановления, принятые польским сеймом (так они именовались в то время в польском языке).

К началу XVIII столетия относится первая лексикографическая фиксация существительного *конституция* в России. С толкованием 'учрежденіе, установленіе' оно помещается в «Лексиконе вокабулам новым по алфавиту», составленном во время царствования Петра I.

В значении же 'основной закон государства' (правда, при весьма громоздкой и не совсем определенной формулировке толкования) *конституция* впервые регистрируется в «Новом словотолкователе, расположенном по алфавиту» Н. М. Яновского (1803): 'учреждение, устав, собрание коренных законов гражданских или духовных, всеобщих или частных, составляющих правление какого-либо народа'. С тех пор оно регулярно помещается в словари русского языка. Сравните, например, близкое к современному толкование слова *конституция*, приведенное в «Словаре церковно-славянского и русского языка» (1847): 'основные законы, по которым управляются некоторые государства'.

С конца XVIII — начала XIX века *конституция* в качестве хорошо освоенного заимствования входит в словарный состав русского языка. Теперь это уже не «чужое» слово, употребляемое в силу потребностей дипломатической переписки, а один из наиболее злободневных общественно-политических терминов: «Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции... Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою» (А. С. Пушкин. Заметки по русской истории XVIII века).

Закреплению слова *конституция* в русском языке, превращению его в актуальный общественно-политический термин во многом содействовала конституционная деятельность декабристов. Как известно, разработку и принятие основного закона государства, ограничивающего власть монарха, они рассматривали в качестве одной из основных целей своей борьбы против самодержавия. Декабристами было разработано несколько проектов конституций. Наибольшую известность приобрела конституция Н. М. Муравьева, которую предназначалось провести в жизнь в случае успеха восстания. По конституции Н. Муравьева предполагалось установление конституционной монархии, свобода слова, печати, вероисповеданий, равенство всех граждан перед законом; крепостное право отменялось, но земли оставались у помещиков, крестьяне же получали до двух десятин пахотной земли на двор.

Следует отметить, что сами декабристы для названия своих проектов основного закона пользовались не только словом *конституция*, но и словами *хартия*, *устав* (как правило, в сочетаниях «народный устав», «государственный

устав»). Так, Н. М. Муравьев говорил в своих показаниях следственной комиссии: «Цель общества была введение представительного правления монархического. Средство достижения сего было распространение представительных понятий и склонение вооруженной силы для содействия сему. Тогда быв поддержаны войсками надеялись заставить принять Хартию». И здесь же: «Написана была Конституция мною одним, содержание оной было обширно, и буде желают я оное изложу на бумаге» (Восстание декабристов. Материалы). К. Ф. Рылеев писал: «Приговору Великого собора положено было беспрекословно повиноваться, стараясь только, чтобы народным Уставом был введен представительный образ Правления, свобода книгопечатания, открытое судопроизводство и личная безопасность. Проект Конституции, составленный Муравьевым должно было представить Народному Собору как проект» (там же).

В первой половине XIX века в русском языке достаточно распространенным было также сочетание *конституционная хартия*, заимствованное, очевидно, из французского языка. «Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и рабами...» (А. И. Герцен. Былое и думы). Составное наименование *конституционная хартия* было явно избыточно по своей форме, поэтому вскоре вышло из употребления. Не закрепились в языке в значении «основной закон государства» и слова *устав* и *хартия*. Правда, последнее порой используется в качестве образного названия конституции (ср.: «Хартия подлинного гуманизма» («Литературная газета», 21 сентября 1977)). Таким образом, существительное *конституция* уже в XIX веке стало единственным прямым наименованием основного закона государства в русском языке.

В XIX веке *конституция* нередко встречается в художественной литературе. Включая его в речь персонажей, русские писатели создают точные по общественно-политической характеристике портреты своих современников. Блестяще высмеял «конституционные чаяния» дворян, требовавших от царя конституции, гарантирующей в России дворянское представительное правление, М. Е. Салтыков-Щедрин. В очерке «Культурные люди» он создает образ «культурного человека», которому «чего-то» хочется: «не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать». Слова М. Е. Салтыкова-Щедрина полу-

чили широкое распространение. Конституционные притязания дворянства в исключительно сословном духе нередко называли «севрюжной конституцией».

Неоднократно творчески использовал этот образ для характеристики конституционной демагогии либералов, выступавших за «конституцию без революции», В. И. Ленин: «Вместо того, чтобы учить народ правильному понятию конституции,— вы, демократы, сводите в своих писаниях конституцию к севрюжине с хреном. Ибо не подлежит сомнению, что для контрреволюционного помещика конституция есть именно севрюжина с хреном, есть вид наибольшего усовершенствования приемов ограбления и подчинения мужика и всей народной массы» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 16, с. 41). При помощи этого уподобления В. И. Ленин в остросатирической форме раскрывает антинародный, антидемократический характер либеральных конституционных проектов.

Как известно, в конце XIX — начале XX века в России либерально-монархическая буржуазия стремилась добиться от самодержавия определенных политических уступок. Слово *конституция* становится едва ли не основным термином общественно-политической фразеологии либералов. Не случайно поэтому, что производные от него представлены в названии некоторых буржуазных политических организаций того времени: «Союз земцев-конституционалистов», «партия конституционных демократов» (кадетов). Беспощадную борьбу с этой, по его словам, «подхалимской болтовней о конституции (или севрюжине с хреном à la Родзянко)» вел В. И. Ленин.

Слово *конституция* в качестве официального названия принятых в России законодательных актов до революции не использовалось. Впервые им был назван первый Основной Закон Советской республики, принятый на Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 года. Выступая на VI съезде Советов, В. И. Ленин говорил: «Мы знаем, что эта Советская конституция, которая в июле утверждена, что она не выдумана какой-нибудь комиссией, не сочинена юристами, не списана с других конституций. В мире не бывало таких конституций, как наша. В ней записан опыт борьбы и организации пролетарских масс против эксплуататоров и внутри страны, и во всём мире» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 37, с. 147).

Первая советская Конституция законодательно закрепила завоевания Великого Октября: установление дикта-

туры пролетариата «в виде мощной Всероссийской Советской власти», отмену частной собственности на землю, национализацию лесов, недр и вод, введение рабочего контроля и т. д.

31 января 1924 года II съездом Советов была утверждена первая Конституция СССР. Ее основу составили Декларация и принятый в 1922 году Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, в который тогда вошли четыре республики — РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, объединявшая Азербайджан, Армению и Грузию.

Конституция, принятая 5 декабря 1936 года на Чрезвычайном VIII съезде Советов Союза ССР, отражала создание в СССР основ социализма: она закрепила безраздельное господство социалистических начал во всех сферах общественной жизни. В Конституции 1936 года впервые в избирательном праве СССР устанавливался принцип всеобщих, равных и прямых выборов в органы Советской власти. В качестве высшего органа государственной власти Конституцией учреждался Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей.

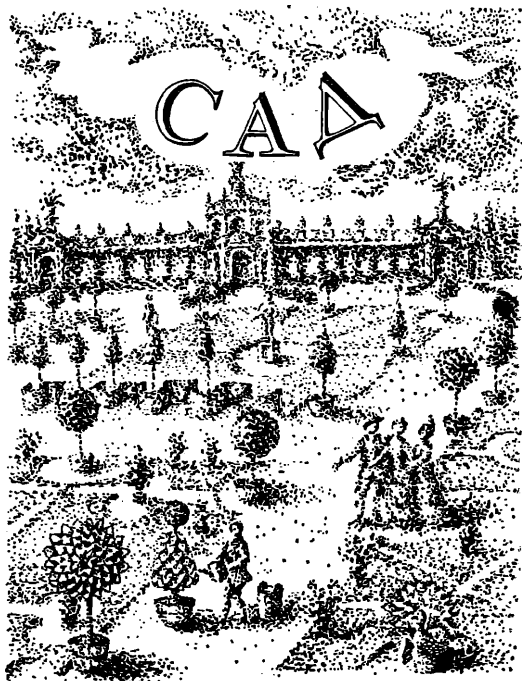
7 октября 1977 года была принята новая Конституция СССР — Конституция развитого социализма. В ней последовательно отражены завоевания нашей страны за годы Советской власти, показана сущность развитого социализма и законодательно установлены его наиболее важные принципы применительно к разным сферам общественной жизни, определены цели и основные направления развития Советского государства.

В своем докладе на сессии Верховного Совета СССР 4 октября 1977 года Л. И. Брежнев сказал: «Новая Конституция — это, можно сказать, концентрированный итог всего шестидесятилетнего развития Советского государства. Она ярко свидетельствует о том, что идеи, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются в жизнь».

Слово *конституция* употребляется во многих современных языках. Однако оно может иметь совершенно различное общественное звучание. Для советских людей за этим словом стоит не просто юридический документ или некая абстрактная «хартия вольностей», а основной закон жизни, воплощающий подлинный гуманизм и демократию социалистического общества.

С. И. ВИНОГРАДОВ
С. В. РЕДЬКИН

Как свидетельствуют древнерусские летописи, акты, грамоты, народные песни, предания, русский народ издавна занимался садоводством. Не случайно в старинных наименованиях различных мест Москвы встречаются такие названия, как Сады, Садовники, Огородники. А в «Домострое» — своде правил домашнего хозяйства XVI века — приводится даже специальное наставление «Огородъ и садъ какъ водити».



Общеславянское слово *сад* встречается в русских памятниках письменности с XI века. Так, в «Изборнике» 1073 г. читаем: «Многы суть сима садома отрасли». В древности слово имело значения: 'растение', 'дерево', 'деревья', 'трава', 'луг', 'роща'. Кроме того, садом называли специальное помещение (клетку, водоем и т. п.) для содержания и разведения водоплавающей птицы, а также рыбы: «Подъ селцомъ же Княжчины на рекъ Яузе для диких гусей и утокъ садъ...» (Дела Тайного приказа, 1676 г.); «а сколько у нихъ какой рыбы въ улове і въ садъ посажено будетъ, о томъ имъ писать и росписи присылать въ Приказъ Тайныхъ Дѣлъ» (Там же, 1667 г.). Отсюда и такое наименование, как *рыбный сад*: «и та рыба велено принять въ дворцовые рыбные сады» (Там же, 1667 г.).

С течением времени слово *сад* в значении 'помещение для содержания и разведения рыбы, водоплавающей птицы' выходит из употребления. В современном русском языке это значение выражается существительным *садок*.

В старину интересующее нас слово употреблялось и в привычном для нас значении 'участок земли, засаженный деревьями,

кустами и цветами»: «Якоже дрeвосадьци подлѣ сады рѣвы ко- пают...» (Картотека словаря древнерусского языка XI—XIV вв.).

Наряду со словом *сад* для обозначения участка земли, заса- женного деревьями, кустами и цветами, пользовались и славян- скими словами *оград*, *град*, *градина*, *огород*: «и оградъ прекраснѣ всяка дрeва оwoць имуща» (Картотека словаря древнерусского языка XI—XIV вв.); «Цвѣтoве же въ градѣхъ различни цвѣтутъ, а подьгорья дубравами утварена» (Словарь русского языка XI—XVII вв., 1263 г.); «...и постави посрѣд(и) виноград(а), или нивъ, или градине, и проженеть въсакаго диявола оттуд(у)» (Там же, XV в.); «имѣлъ тотъ король... при своемъ чертоге нѣкоторый оgo- родъ, или садъ въ которомъ часто прохлаждался» (Картотека сло- варя русского языка XI—XVII вв., 1688 г.). В работе «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи» (Ученые записки. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1949, т. 80) Ф. П. Филин, цити- руя отрывок из Лаврентьевской летописи под 1151 г. «...и села пожгоша и огороды всѣ присѣкоша», подчеркивает, что из по- следней фразы видно, что огород в данном случае — это сад.

Как показывают материалы старорусской письменности, в древней Руси не было такого различия между понятиями *сад* и *огород*, как в настоящее время. Сады часто соединялись с ого- родами, в последних могли возделываться плодовые и ягодные культуры, располагаться групповые насаждения: «2 огорода, въ одномъ огороде 150 кустовъ смородины красной, и бѣлой и чер- ной, 1000 пенковъ яблонovýchъ» (Дела Тайного приказа, 1676 г.); «...да на моем же Офанасеве дворѣ в огороде сад ябланей и при- вивокъ с девяноста...» (Московская деловая и бытовая письмен- ность XVII века). Поэтому нередко в письменности той поры слово *огород* могло употребляться в значении 'сад', а слово *сад* — в значении 'огород'.

В «Подробном словаре увеселительного, ботанического и хо- зяйственного садоводства» Н. Иванова — справочнике XVIII ве- ка — сады разделяются на три рода: *сад плодовиый*, *сад цветоч- ный*, или *цветник*, и *сад овощной*, или *огород*. Здесь при помощи прилагательных *плодовиый*, *цветочный*, *овощной* намечается раз- граничение понятий *сад* и *огород*. Отдельные случаи такой диффе- ренциации зафиксированы и письменностью древнейшего време- ни, где мы встречаем словосочетания *ограды садовныя* и *ограды овощныя*: «еже и ограды садовныя разбѣены быша, и иже в нихъ дрeвеса плодовиитаа искоренена и погублена, отъ буря вѣтрeняя и отъ нужда водныя» (Летописный сборник, именуемый Летописью Авраамки, 1420—1421 гг.); «и скупи ограды овощныя окрестъ его» (Житие преподобного Авраамия Смоленского и служба ему. Па- мятники древнерусской литературы, XVI в.).



В. Д. Поленов.
Бабушкин сад

Слово *огород* в значении 'сад' сохранялось в сельскохозяйственной терминологии вплоть до XX века. Так, «Садовый словарь» П. Е. Волкенштейна (1889), перечисляя виды садов, указывает и на огород (овощник), служащий для «разводки полезных боль съдомыхъ растений». А в «Иллюстративном сельскохозяйственном словаре» С. М. Богданова (1895) отмечается, что «иногда и огород считают особым видом сада».

В современном русском литературном языке слово *огород* сузило свою семантику. Оно употребляется только в значении 'участок земли для выращивания овощей, обычно обнесённый изгородью'.

Слово *сад* в древнерусском языке входило в качестве стержневого в ряд словосочетаний. Так, в Ипатьевской летописи под 1259 годом зафиксирован составной термин *сад красный*: «посади же садъ красенъ». Издавна с понятием *красный* связывалось представление о прекрасном: слово *красный* как обозначение цвета вторично. Отсюда *красный сад* — это 'прекрасный сад'.

Составной термин *красный сад* обнаруживаем и в письменности последующего времени. В «Материалах для истории медици-

ны в России» (1885), куда включены памятники XVII века, читаем: «...взяты мы холопи твои... въ твой Государевъ новой въ красной садъ въ садовники къ садамъ разводить». Однако наименование *красный сад* здесь имеет несколько иное значение. Дело в том, что в XVII веке в России начинает развиваться так называемое «изящное» садоводство. Наряду со старинными русскими садами, где плодовые деревья растут вместе с огородными растениями, появляются сады, в которых овощи не выращиваются. В них разбивались цветники, сажались южные «заморские» культуры, привозимые иностранцами, строились оранжереи, павильоны, беседки, водоемы, устраивались качели. Такие пестро убранные, предназначенные для гулянья сады именовались не только *красными*, но и *увеселительными*, *потешными*, *публичными*.

В «Материалах для истории медицины в России» встречаем повествование о красном каменном саде, о красном верхнем и нижнем садах XVII века: «...кои мы сады разводили въ твоёмъ Государевъ новомъ красномъ каменномъ саду и на денежномъ старомъ дворѣ»; «И противъ сей помѣты, садовникъ краснаго верхняго и нижнихъ садовъ Степанъ Мушakovъ».

Красный каменный сад — это «изящный» сад, расположенный на каменных сводах ярусных зданий, на террасах. Часто он обносился каменной оградой с узорчатыми решетками.

Красные верхний и нижний сады получили название по своему расположению, прилагательные *нижний* и *верхний* подчеркивают место нахождения, например, на сводах нижних или верхних палат.

Красные (увеселительные) сады разбивались в регулярном стиле: всем их насаждениям придавалась строгая симметрия. Отсюда и название садов в специальной литературе XVIII века — *регулярные*. В «Подробном словаре увеселительного, ботанического и хозяйственного садоводства» Н. Иванова о регулярных садах сказано, что они «разностію видовъ устроенныхъ искусствомъ и различными великолѣпными украшеніями привлѣкают на себя всѣхъ взоры и гдѣ болѣе удовольствіе глазъ чемъ польза приѣмлется во уваженіе». В «Записках А. Т. Болотова», относящихся ко второй половине XVIII века, читаем: «а регулярные сады были только одни въ обыкновеніи и повсюду въ величайшей модѣ». Там же указывается и на появление в то время садов *иррегулярных*: «и я, разлюбивъ сады старинные регулярные, поллюбилъ уже иррегулярные, натуральные и прекрасные...».

Иррегулярные сады устраивались в соответствующем стиле — близком к естественному ландшафту, недаром А. Т. Болотов называл их натуральными. Все в них естественно, без малейшего

следа искусственности, в таких садах не встретишь прямых дорожек и регулярных аллей.

Начиная с XVII века, в России появляются сады, специально предназначенные для возделывания лекарственных трав, так называемые *аптекарские сады* или *огороды*: «лопедямъ на кормъ — на сѣно и на овесъ и на строенья трубы — что строена въ аптекарскомъ саду...» (Материалы для истории медицины в России).

В Москве было несколько аптекарских садов, например, у Кремля, за Мясницкими воротами и в Немецкой слободе. Появление таких садов связано с основанием в XVII веке царем Алексеем Михайловичем специального Аптекарского приказа, ведавшего снабжением лекарственными травами царского двора и армии. Кроме привозимых лекарств из-за границы, в России стали использоваться отечественные медикаменты, приготовляемые из лекарственных трав.

Снабжению страны лекарственными растениями уделял внимание Петр I. По его приказу «аптекарские огороды» были созданы во всех крупных городах при военных госпиталях. Большой аптекарский огород появился в Санкт-Петербурге на Аптекарском острове. Именно этот аптекарский огород стал центром ботанической науки в нашей стране и одним из крупнейших ботанических учреждений мира — Ботаническим институтом Академии наук СССР.

Двусоставному термину *аптекарский сад* (или *огород*) синонимичны словосочетания *сад дохтурский* и *сад медицинский*, встречающиеся в письменных памятниках XVII—XVIII веков: «есть в томъ городе сад дохтурской зѣло урядно устроенъ» (Козмография, 1670 г.); «въ тамошнихъ медицинскихъ или аптекарскихъ садахъ» (Труды Вольного Экономического общества, 1792).

В памятниках устного народного творчества употреблялось выражение *зеленый сад*: «Мне не жалко было бросить свою сторону, Разжалъчее мне всего батюшкин зеленый сад» (Исторические песни XIII—XVI веков. М.—Л., 1960). В народных песнях прилагательное *зеленый* представляет собой излюбленный поэтический эпитет. *Зеленый* — это символ свежести, неувядающей молодости природы.

Со временем слово *сад* испытало определенные изменения. Оно утратило синонимические связи, которые прослеживались в древнерусском языке. Один из синонимов (*огород*) стал иметь иное значение, а другой, свойственный книжной речи (*оград*), не входит в словарный состав русского литературного языка. Не сохранились в русском литературном языке и давние словосочетания *красный сад*, *красный каменный сад*, *красный верхний и нижний сад*, *аптекарский сад*, *докторский сад*, *медицинский сад*.

Л. О. ВАРИК

Рисунок С. Гавриловой



Кто из нас не знает знаменитой русской песни про липу вековую:

Липа вековая
Над рекой шумит.
Песня удалая
Вдалеке звенит.

Без липы трудно представить себе русскую литературу: тургеневские усадьбы и заволжские пейзажи А. Н. Толстого, лирические описания природы Тютчева, Майкова, Полонского, Фета, Ахматовой...

Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

П у ш к и н. «Простите, верные дубравы!..»



С вековыми царскосельскими липами связаны воспоминания тех лет, когда юный лицеист Пушкин, «смуглый отрок» с томиком Парни, бродил по аллеям Царского Села:

Веди, веди меня под липовые сени,
Всегда любезные моей свободной лени,
На берег озера, на тихий скат холмов...

Пушкин. Царское Село

Пушкин нежно любил «Прохладу лип и кленов шумный кров — Они знакомы вдохновенью»...

Дерево липа во всех славянских языках носит, в сущности, одно и то же название. А это — верный признак очень древнего происхождения слова. Аналогичные названия имеются в латышском, литовском, наконец, в древнерусском языках. Слово *липа* (и прилагательное *липовый*) встречается в древнейших русских письменных памятниках. Напомним хотя бы рассказ о страшном голоде, постигшем когда-то новгородцев (1 Новгородская летопись): в ту пору жители Новгорода «ядяху... листь липовъ, кору березову».

В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера отмечается: «Дерево было названо так из-за своего липкого сока». Значит, наше русское (и вообще славянское) слово находится в прямом, «кровном» родстве с такими словами, как *лепить*, *липать*, *липкий*, *липучий*, *липучка* и т. д.

Стоит задуматься: а сколько вообще «родственников» у слова *липа*? Оказывается, не так уж мало. И родство это идет по нескольким линиям.

Во-первых, название *липа* и однокорневые с ним наименования широко распространены в русских народных говорах. Ими называют в народе самые разные растения с клейким липучим соком. «Липа уж расцвела красная. Цветы мы зовем: они липнут», — объясняют жители Рязанщины. Разумеется, «красная липа» — совсем не «липа вековая» русских песен. Это даже не дерево. Под названием *липа* жителям Рязанской области известно цветущее полевое растение *Luchnis viscaria* L. из семейства гвоздичных, смолка клейкая, которую в Красноуфимской губернии называли *липкая трава*, *смолянка*, в Курской — *прилип* и т. п. Другое растение из того же семейства, *Dianthus deltoides* L., гвоздика травянка (с липким стебельком) в Олонецкой губернии было известно под названием *липочка*, а растение *Sillene* L. (систематическое название которого, кстати, *смолевка*) в Новгородской губернии в начале нашего столетия именовалось *липка*.

Так оказались в родстве с могучей липой многочисленные травянистые растения с клейким соком.

А целый ряд других растений получил названия, родственные литературному слову *липа*, уже не за свойство выделять липучий сок, а за свои плоды, обычно колючие, а потому цепляющиеся, «липнущие» к одежде, как репей. Таковы, например, некоторые виды растений из семейства мареновых: *Galium L.*, называемый в Вятской губернии *липушник* (в других местах он известен как *репейная* или *смольная трава*), на Алтае — *лепуха*, в Олонецкой губернии — *прилипуха*. Сюда же относятся народные названия *Agrimonia Eupatoria L.* из семейства розанных, репейника аптечного: псковское и тверское *лепильки*, *лепильник*, пермское *липучка*. Колючие плоды репейника в Костромской губернии назывались *липкй*. А еще жители тех мест называли *липичей* крыжовник — видимо, из-за шипов на ветках этого плодового кустарника.

От того же корня, что и литературное *липа*, образованы в диалектах слова, обозначающие клейкие березовые почки: *липкй* (Ленингр., Пск.), *липбчки* (Ленингр.), *липёц* (Новг.), *липбк* (Влад.). А в Вологодской области *липйшкками* называли незрелые плоды гороха, плотно «прилепленные» к сердцевине зеленого стручка: «Чего и на горох-то идти, одни липишки».

Итак, «родственниками» нашей липы оказались растения, совсем не похожие на цветущие в середине лета раскидистые вековые деревья. И не только растения: если мы перешагнем за границы растительного мира, мы снова натолкнемся на слова, родственные общенародному глаголу *липнуть* (а следовательно, и названию дерева *липа*). Так, например, мокрый снег, налипающий на полозья саней, лыжи, одежду, в Архангельской области носит точное и меткое название — *липаты*, а на юге Урала — *липня*.

Жители Урала в середине XIX века называли шкурку ягненка, которая лезет, линяет, шерсть которой липнет к платью, *липак*. Так же называли в Пермской губернии молоденького ягненка — до тех пор, пока он питается молоком матери... Понятно, что здесь «родственные отношения» носят уже очень опосредованный характер.

Вернемся, однако, к дереву, с запахом которого связывается в нашем сознании пора ласкового лета, тенистые аллеи, жужжание пчел, берущих душистый взяток, строки полузабытых стихов:

Люблю цветные стекла окон
И сумрак от столетних лип.

Б у н и н. Цветные стекла

В народном языке названия этого дерева, хотя и отличаются от литературного наименования, как правило, образованы от того же древнего корня *лип-*. В Новгородской, Псковской, Ленинград-

ской, Калининской областях дерево называют *липина*, на западе Брянской области — *липина*, в Свердловской — *липовница*. В Новгородской и Смоленской губерниях бытовало уменьшительно-ласкательное наименование *липинка*:

Ня скрип, ня скрип, липинка,
Мне и так лихонько!

Так поется в одной из старинных смоленских песен.

Когда-то в старину *липником* называли липовый лес, липовую рощу: так, по крайней мере, свидетельствует текст старинной купчей XV века. Это слово, неизвестное современному литературному языку, по сей день продолжает жить в русских народных говорах: так называют липовую рощу на Урале.

Общеизвестное прилагательное *липовый*, как и само название дерева, также имеет в диалектах свои варианты: например, на севере нашей страны (Печора и Зимний Берег) говорят не *липовый*, а *липенный* или *липкбвый*:

Делают рели [качели.— Е. Э.] превысокие,
Вешают три петелки шелковые,
Перва петелка — шелковая,
Втора петелка — пеньковая,
Третья петелка — липковая.

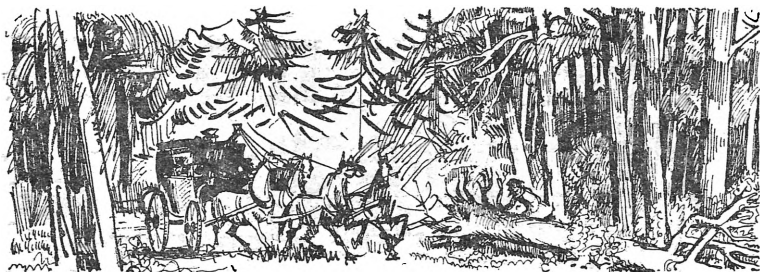
Былины Печоры и Зимнего Берега, 1961

Как известно, с медоносных цветов липы берут обильный взятки пчелы. Белый липовый мед отличается своим цветом и ароматом от темного гречишного. Его название *липец* известно тверским говорам, а в Костромском крае он именовался *липовец*. «Липцом,— пишет автор изданного в прошлом веке „Опыта терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного“ (СПб., 1843—1844) В. Бурнашев,— называется потому, что собирание его бывает во время цветения липовых деревьев. Благовонный белый липец предпочитается другим сортам».

Очевидно, именно медоносные свойства липовых цветов послужили причиной возникновения владимирских названий вереска: *липина*, *липица*. Ведь, как известно, из вереска тоже получают мед, только вересковый.

Некоторые изделия из древесины или коры липы в русских диалектах также имеют названия с корнем *лип-*. В середине XIX века в Псковской и Тверской губерниях липовую колоду для пчелиного улья называли *липня*. На севере (в Вологодской области) крестьяне носили когда-то лапти, сплетенные из липовой коры. Такие лапти назывались *липовики*.

Совсем неожиданное «родство» обнаружилось у нашей липы в Пензенской губернии: здесь в начале XX века выращивали сорт некрупных наливных яблок-скороспелок, запах которых напоминал медовый аромат липовых цветов. Эти яблоки называли *липка*... Таким образом, «вековая липа», название которой ведет начало от древнего славянского корня, имеет в русских народных говорах многочисленную и довольно пеструю «родню», так или иначе связанную с этим деревом или появившуюся в силу различных ассоциаций со свойствами липового цвета.



Слово *почта*, по данным картотеки «Словаря русского языка XI—XVII вв.», начало входить в нашу письменность с XVI века (отмечено у А. Курбского в «Истории о великом князе Московском»). Широкое распространение оно получило в XVII веке — в связи с укреплением централизованной власти и организацией более регулярного почтового сообщения. С этого времени слово *почта* стало использоваться в официально-деловой речи, а также в языке широких социальных слоев русского общества. В частности, оно встречается в письмах крестьян (грамотках), например: «Ты писал ко мне через почту» (Грамотки XVII—начала XVIII века. М., 1969). В XVII—XVIII веках постепенно складывалась и определялась семантическая структура рассматриваемого слова.

Слово *почта* в первой трети XIX века, как и в современном литературном языке, многозначно. Основное его значение — это «государственное учреждение, ведающее пересылкой и доставкой адресатам писем, денег, посылок и т. п.»: «Я не писал к тебе потому, что в соре с Московскою почтою» (Пушкин. Письмо П. В. Нащокину, 10 января 1836); «Это каждый солдат так привык: Писем нет,— значит почту ругает» (Лебедев-Кумач. Офицер).

Так как в пушкинское время в России не было железнодорож-

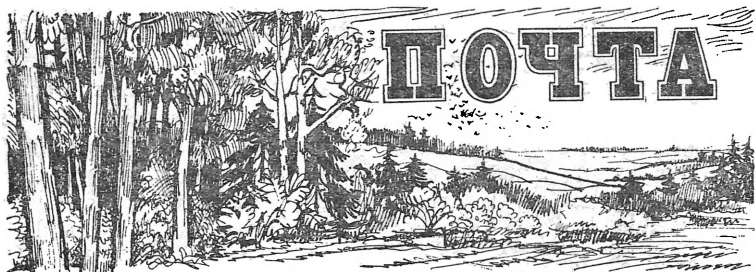
...Сколько поэтических представлений вызывает запах цветущих лип, сколько знакомых строк приходит на память:

Вновь одинок, как десять лет назад,
Брожу в саду; ведут аллеи те же,
С цветущих лип знакомый аромат.

Брюсов. Mon rêve familial

Е. Н. ЭТЕРЛЕЙ

Рисунок Ю. Космынина



ного сообщения (первая большая железная дорога — между Москвой и Петербургом — начала строиться только в первой четверти прошлого столетия), то почтовое учреждение осуществляло наряду с пересылкой корреспонденции и регулярную перевозку пассажиров в конных экипажах. Наименованием почтового экипажа, кареты, перевозящих почтовые отправления и пассажиров, также служило слово *почта*. Например: «Почта отправляется два раза в неделю и проезжие к ней присоединяются» (Пушкин. Путешествие в Арзрум).

Слово *почта* выступало и в устойчивом выражении *по почте* — при глаголах, означающих езду: *ехать, мчаться, (по)скакать* и т. п. Это выражение имело значение «на переменных (перекладных) почтовых лошадях». Оно встречается, например, в «Евгении Онегине»: «Прочтя печальное посланье, Евгений тотчас на свиданье Стремглав по почте поскакал...». На почтовых лошадях знатные дворяне пушкинской поры совершали визиты и к своим ближайшим соседям. Так, «забав и роскоши дитя» Евгений Онегин выезжал на балы в ямской карете, то есть в экипаже, принадлежащем почтовой станции: «У нас теперь не то в предмете: Мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав в ямской карете Уж мой Онегин поскакал». Современники Пушкина, в том числе и родовитые аристократы, пользовались подобными экипажами.

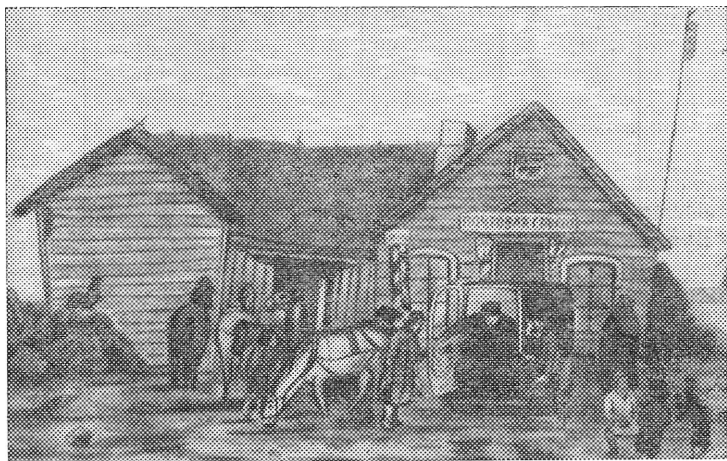
Так, у П. А. Вяземского встречается признание: «Пегасы просто почтовые Меня до почты довели» (Коляска).

Необходимость переезда в почтовых экипажах была обусловлена рядом причин. Прежде всего, в пушкинский период просто не было более быстрого способа передвижения. Кроме того, карета служила надежным укрытием от дождя и непогоды. По мере развития железнодорожной сети отпадает необходимость ездить на почтовых лошадях, по почте. Постепенно отмирает и употребление слова *почта* в этом значении.

В других же значениях слово *почта* сохраняло и поныне сохраняет активность в употреблении. В частности, оно используется как обозначение очередной отправки, доставки почтовых отправлений. Некоторые примеры: «Помилуй, за что в самом деле ты меня бранишь? что я пропустил одну почту? но ведь почта у нас всякий день» (Пушкин. Письмо Н. Н. Пушкиной, около 27 июня 1834); «На этой почте всё в стихах, А низкой прозою ни слова» (Жуковский. Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину).

Именно в пушкинское время в семантической структуре слова *почта* утверждается как вполне нормативное литературное значение 'помещение, где производятся почтовые операции', которое воспринималось носителями литературного языка конца XVIII века как характерное для «простой» (то есть разговорной) речи. В первой трети XIX века слово *почта* в значении 'помещение...' полностью осваивается литературным языком. Подтверждением этому служит то, что оно употребляется не только в текстах, отражающих разговорную речь, например, в переписке: «Вчера только успел отправить письмо на почту, получил от тебя целых три» (Пушкин. Письмо Н. Н. Пушкиной, 27 сентября 1832), но и в авторском повествовании, например, в художественной прозе: «...она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту» (Пушкин. Дубровский).

Наконец, у слова *почта* есть и такое значение — 'то, что пересылается, доставляется почтовым учреждением; почтовое отправление'. Именно в этом значении употреблено слово *почта* в следующем тексте: «— Сегодня быть он обещал,— Старушке Ленской отвечал,— Да, видно, почта задержала» (Пушкин. Евгений Онегин). Нет ничего удивительного в том, что изображаемый Пушкиным герой — представитель передового дворянства пушкинской поры — Онегин мог вести широкую переписку. Дружеские письма, воспоминания, дневниковые записи первой трети XIX века свидетельствуют о том, что культурные, образованные люди той эпохи придавали переписке особое значение. Письма сохранялись, а подчас и перерабатывались — в предвидении возможности по-



*На почтовой станции. Акварель неизвестного художника.
30-е годы XIX века*

явления в печати. Интересен в этой связи следующий отрывок из письма П. А. Вяземского к жене: «Пришли мне мои прошлогодние письма из Ревеля. Может быть, займусь приведением их в порядок и прибавлением к ним» (письмо к В. Ф. Вяземской от 22 июня 1826 г.— Остафьевский архив кн. Вяземских). Письма переписываются, отшлифовываются (известны, например, черновики многих писем Пушкина), они нередко рассчитаны на прочтение не только адресатом, но и другими лицами (приятелями, людьми одного круга, близкими по образу мыслей, творчеству). Тщательное отношение к названному жанру способствовало тому, что эпистолярное творчество первой трети XIX века становится фактом литературы (см.: Н. Л. Степанов. Дружеское письмо начала XIX века — В сб.: «Русская проза». Л., 1926; он же: Письма Пушкина как литературный жанр.— Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию академика В. В. Виноградова. М., 1965).

Слово *почта* в значении 'то, что пересылается, доставляется почтовым учреждением' употребляется и в послепушкинскую эпоху: «Вот почта новая. Какая груда дел! Куда деваться мне от писем и посылок?» (Некрасов. Деловой разговор). Известно оно и современному языку: «На ступеньке сидел мальчик лет двенадцати.— Тетя Надя, „Огонек“ есть? — спросил он.— Не знаю еще. Сейчас разберу почту» (С. Антонов. Библиотекарша).

*Е. П. ХОДАКОВА
Рисунок Ю. Космынина*



Когда говорят о том, что культура Древней Руси в первой половине XI века стояла на очень высоком уровне, то в числе бесспорных свидетельств этого, наряду с лучшими памятниками живописи и архитектуры, называют первое в восточнославянских литературах оригинальное произведение — «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона. Летописных сведений о самом Иларионе до нас дошло очень мало. Родом из Руси, возможно, киевлянин, он какое-то время был священником в селе Берестове — родовой вотчине великих князей под Киевом.

Благодаря своему образованию (полученному, очевидно, в том училище, которое основал в Киеве Владимир и куда приказал брать «на ученье книжное» детей знатных лиц) и подвижнической жизни, Иларион приобрел большую известность. Ярослав Мудрый, покровитель просвещения, часто бывая в своем загородном дворце, обратил на него внимание. Когда умер в Киеве митрополит грек Феопемпт, великий князь решил поставить на его место Илариона. В летописи под 1051 годом сообщается: «Постави Ярослав Илариона митрополитом, русина, в святѣи Софии, собравъ епископы».

Решение Ярослава было значительным событием в древнерусской государственной политике. Ведь до тех пор на Руси митрополитами были только греки, присылаемые из Константинополя, а их главной задачей было осуществлять административную опеку «Нового Рима» над молодым древнерусским государством. На такой политический шаг Ярослава толкнуло, вероятно, сознание военного перевеса Руси над Византией. И конечно, своим «настолованием» Иларион был обязан не столько тому, что был он «мужь благ, и книжень, и постникъ», сколько своим литературным, ораторским и, без сомнения, политическим способностям. Многие исследователи считают, что сама мысль о возможности назначения митрополита из русских сформировалась у Ярослава под воздействием основного из дошедших до нас произведений Илариона — «Слова о законе и благодати».

Иларион был митрополитом не более четырех лет, так как уже под 1055 годом в Новгородской летописи в качестве русского

ПИСАТЕЛЬ ИЛАРИОН

митрополита называется грек Ефрем. Что стало с Иларионом после этого, летопись не сообщает. Распространена гипотеза, согласно которой Иларион постригся в Киево-Печерском монастыре, приняв в монашестве имя Никои, и впоследствии стал игуменом этого монастыря. В таком случае именно он составил Первый Киево-Печерский летописный свод 1073 года на основе Древнейшего Киевского свода 1039 года, дополнив его несколькими вставками и продолжив статьи о событиях, последовавших за кончиной Ярослава Мудрого (1054 г.).

В бытность митрополитом Иларион помогал Ярославу в составлении княжеского Устава — кодекса семейного и брачного права древнерусского государства. Об этом сказано в начале Устава (сохранившегося в списках XV—XIX веков): «А се азъ, князь великыи Ярослав, сынъ Володимеров, по данию отца своего сгадал есмь с митрополитом киевским и всеа Руси Иларионом, сложихом (составили) греческий номоканон (свод законов, устав)». В целом же объем литературного наследия Илариона до сих пор остается невыясненным. Если принадлежность ему знаменитого «Слова о законе и благодати», «Молитвы», «Исповедания веры» и небольшого отрывка из поучения священникам ни у кого не вызывает сомнений (последние три содержат в своем тексте имя Илариона и его церковный титул — митрополит), то его отношение более чем к десятку других произведений пока твердо не установлено.



И все же, несмотря на скудость летописных сведений, можно не сомневаться, что человек столь обширных познаний сыграл определяющую роль в становлении древнерусской культуры. В самом деле, если принять за критерии писательского таланта стройность композиции текста и логику развития мысли, мастерство в использовании поэтических фигур, точность и остроумие в сравнениях, то окажется, что равно Илариону нет не только в современной ему, но и в древнерусской литературе последующих столетий. Художественные достоинства «Слова» показывают, что Иларион блестяще владел средствами поэтического и ораторского искусства. В нем мы находим целый ряд своеобразных и ярких символических сравнений и сопоставлений, метафор, антитез, риторических восклицаний и вопросов и т. п. Так, обосновывая мысль о приоритете христианства («благодати») перед иудейством («законом»), Иларион прибегает к символическому параллелизму и олицетворению: «закон» он сопоставляет с тенью, светом луны, ночным холодом и с библейскими персонажами Агарью и Измаилом, а «благодать» — с сияющим солнцем, теплом, с Саррой и Исааком. Подобные сопоставления и противопоставления реализуются у писателя в синтаксических фигурах, прежде всего в антитезах: «Прѣжде закон, ти потом благодать, прѣжде стѣнь (тьнь); ти потом истина», «не иудейски хулим, но христианскы благословимъ, не совѣта творим, яко распяти и (его), но яко распятому поклонитися» и т. д. Для характеристики Владимира писатель использует такие великолепные метафоры: «Ты правдою бѣ (был) облѣченъ, крѣпостию прѣпоясанъ, истиною обут, съмысломъ вѣнчанъ и милостынею, яко гривною и утварью златою, красуяся». В этом же поэтическом обращении к Владимиру присутствуют и риторические восклицания, и вопросы: «Тебе же како похвалимъ, о честныи и славныи въ земныхъ владыкахъ, прѣмужественныи Василие (христианское имя Владимира), како доброте ти почюдимся, крѣпости же и силѣ, какво ти благодарие въздадимъ, яко тобою познахомъ господа и лъсти идольскыя избыхомъ». Наконец, сам замысел Илариона — доказать равноправие и даже приоритет молодого древнерусского государства на основе выяснения взаимоотношений Ветхого и Нового заветов — «закона» и «благодати» — показывает в нем человека в высшей степени «насытившегося премудрости книжной» (этой метафорой Иларион характеризует предполагаемого читателя «Слова»).

Историки древнерусского языка, исследующие древнейший период его развития (XI—XII вв.), располагают малым количеством письменных памятников этого периода. Поэтому очень важно восстановить тексты древнерусских произведений, сохранившихся только в позднейших списках, в том числе сочинения Илариона,

сохранившиеся в многочисленных списках XV—XVII веков и в одном отрывке XIII века.

Ученые давно заметили, что древнерусские писцы, переписывая даже богослужебные тексты, не только ошибались, но часто сознательно заменяли устаревшие или просто непонятные им слова другими, более близкими их языковой эпохе, или более удачными по смыслу. В результате рукописные тексты искажались, а иногда даже подвергались литературному, текстуальному изменению. Сопоставив все списки «Слова» (а их сейчас известно более 50-ти), отстоящие от оригинала в подавляющем большинстве случаев на 450—500 лет, обнаруживаем, что они очень мало отличаются друг от друга не только текстологически (по наличию или отсутствию слова, фразы и т. п.), но и лексически. Это говорит о том, что к произведению Илариона переписчики относились с особым уважением.

Так, например, в большинстве списков вплоть до начала XVII века сохраняется древнее слово *каган* — титул великого князя, заимствованный Древней Русью у хозар. И только в восьми списках оно заменено на *князь*. В шестнадцати списках сохранилась древняя бесприставочная форма *сълъ* 'посол'. Почти во всех списках сохранилась древняя форма страдательного причастия *мьноми* от глагола *мати* со значением 'мять, топтать', хотя, как явствует из ошибочных написаний («многими», «иноми»), значение этой формы в XV—XVI веках уже было неизвестно. Большинство списков сохранило архаичный глагол *гърздитсѧ* 'преуспевать'. «И уже не *гърздитсѧ* въ законѣ человекство, нъ въ благодѣти пространо ходити». Его значение к XV—XVI векам, вероятно, тоже утратилось: в десяти списках оно заменено словом *гордитсѧ*, в одном — *грозитсѧ*, еще в двух — *гроздитсѧ* и *грѣздитсѧ*.

Лингвотекстологическое сопоставление всех списков «Слова о законе и благодати» показывает, что наиболее древний из числа сохранившихся списков отрывков из «Слова», датируемый концом XIII века, не сохранил особенностей языка произведения в той степени, в какой его сохранили более поздние списки. Наиболее полный и древний текст его представлен в рукописи № 591 из Синодального собрания Государственного исторического музея в Москве, которая датируется серединой XV века. Это значит, что к числу лингвистических источников XI века можно теперь присовокупить и «Синодальный» список «Слова о законе и благодати» Илариона — первого писателя в древнерусской литературе.

А. М. МОЛДОВАН
Москва

**МАКОВЕЙКО
 ПЕТРОВ
 СЫН ДЫЛСКОГО,
 А
 ПРОЗВИЩЕ
 ТОМИЛКО,
 РОСТОМ ВЫСОК,
 СУТУЛ,
 ВОЛОСОМ РУС,
 СУХОЩЕК,
 В ЛИЦО
 СУЧЕРЕМЕНЬ,
 ОЧИ СЕРЫ,
 НОСОМ ПРЯМ,
 ГУНЛИВ,
 ЛЕТ В ТРИТЦАТЬ,
 СТАРЫННОЙ
 ЧЕЛОВЕК
 ИВАНА СУДОКОВА**



СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

При изучении исторической лексикологии особый интерес представляют «Новгородские записные кабальные книги 100—104 и 111 годов» (1591—1596 и 1602—1603 гг. Изд. АН СССР под ред. А. И. Яковлева, М.—Л., 1938). В них отражены такие значения отдельных слов, которые не зарегистрированы в других источниках. Рассмотрим часть лексики, использованной в памятнике при описании внешности кабальных холопов.

До 1597 года кабальные холопы — это свободные должники, обязавшиеся взамен уплаты процентов служить во дворе займо-

давца до уплаты долга. Уложение царя Федора Ивановича 1597 года устанавливает срок службы кабального холопа до смерти господина.

Долговые обязательства регистрировались в записных кабальных книгах, где приводились некоторые сведения из биографии холопа, перечислялись его приметы. Например: *Маковейко Петров сын Дыльского, а прозвище Томилко, ростом высок, сутул, волосом рус, сухощек, в лицо сучеремень, очи серы, носом прям, гунлив, лет в трицать, старынной человек Ивана Судокова.*

В новгородских кабальных книгах зарегистрировано, по подсчетам Б. Унбегауна, 1400 кабалы, где дано более 2000 словесных портретов. Как видим, здесь широко представлена лексика, употреблявшаяся при описании внешности. В других памятниках древнерусской письменности описание внешнего облика людей встречается довольно редко. Иногда в летописях, в житийной литературе можно встретить словесные портреты представителей царского или княжеского рода, важных сановников, деятелей церкви, которые, однако, лишены ярких индивидуальных качеств и наделены стандартными чертами, присущими всем выдающимся лицам. Например: «Бъ же Ростиславъ моужь добль. ратень. взрастомъ же лъпъ и красенъ лицомъ» (И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893). В этих характеристиках основное внимание обращается на внутренние качества человека, а не на внешность. Речь о внешности идет в различных руководствах по иконописанию, где даются указания, как следует изобразить святого на иконах и фресках. В основном они сводятся к перечислению тех красок, которыми предписывается раскрасить одежду: «Исаіа, епископъ Ростовскій, съдъ; брада со Власьеву, а съ ушей шире; клобукъ бълъ, риза празелен бѣла, исподъ багоръ бѣлъ вельми» (Иконописный подлинник новгородской редакции по Софійскому списку конца XVI в., М., 1873).

Словесные портреты кабальных холопов выгодно отличаются от описаний внешности святых. Они объективны, конкретны, написаны живым разговорным языком с использованием разнообразных средств характеристики и, несмотря на краткость, дают четкое представление о внешнем облике человека.

Земским дьякам, оформлявшим кабальные книги, предписывалось указывать «каковъ хто ростомъ и рожемъ и очьми». Интересно, что прежние значения слова *рост* не всегда совпадают с современным. Так, в книге Бежецкой пятины Белозерской половины (пятиной назывался каждый из пяти округов, на которые делилась Новгородская земля) в значении 'рост' употреблялись два слова — *рост* и *возраст*, например: *ростомъ высок — возрастомъ высока, ростомъ велик — возрастомъ велика*. Существитель-

ное *возраст* в значении 'рост' употреблено и в книгах Водской пятины Полужской половины: *возрастомъ низмянъ*. В некоторых записях слово *рост* как бы предшествует дальнейшему перечислению природных качеств человека: *А ростомъ челоѡкъъ молодъ, лѣтъ въ осмънатцать, волосомъ русъ, очи серы, круглоликъ*.

В аналогичной функции используется и существительное *рожай*. В книгах Бежецкой пятины Тверской половины оно, подобно существительному *рост*, как бы обобщает все перечисляемые вслед за ним качества: *А рожеемъ Смирной — очи краснокари, велики, коцо было въ правомъ ухе, волосомъ русъ, сутулъ, лѣтъ въ дватцать, носъ прямъ, а ростомъ средней челоѡкъъ*.

Однако в тех же книгах слово *рожай* может находиться не только в начале, но и в середине или в конце описания: *Ростомъ Дениско средней челоѡкъъ, волосомъ русъ съ сединою, очи серы, на правой сторонѣ на веску на щоки рубецъ, в рожеемъ смуголъ*. В этом случае семантика существительного *рожай* совпадает с семантикой существительного *лицо*, которое тоже употребляется в записях.

На части Новгородской территории *лицо* первоначально употреблялось в значении 'щека', о чем с полной очевидностью свидетельствуют примеры, взятые из книг Бежецкой пятины Белозерской половины (*на левомъ лице язвинка, по левой брове и на лицы рубец*) и из книг Деревской пятины (*на правомъ лицы бородавица, на лицы и на носу по ямке*). Во всех остальных книгах *лицо* приобрело уже то значение, которое ему присуще в современном русском языке: *на лице на правой стороны бородавочка невелика*.

Наряду с существительными *рожай* и *лицо* употребляется еще слово *рожа*. Оно обозначает «всю переднюю часть головы человека, физиономию»: *на рожи пестрины* 'веснушки'. С таким значением употребляется слово *рожа* в книгах Обонежской пятины Нагорной половины. Обычно оно сопровождается прилагательными, указывающими на форму лица, например: *въ рожу круглоликъ*. Существительное здесь лишено эмоциональной окраски. В записях Первущи Борисова и других писцов *лицо* обладает теми же качествами, что и *рожа*. Сравним: *на лицы пестрины, на лицы шадрины* (шадра — природная оспа) и др. Отсюда следует, что неверно связывать появление данного существительного с переносным употреблением слова *рожа* в значении 'болезнь'.

Орган зрения называется двумя словами — *око* и *глаз*. Существительное *око* является общеславянским, имеет соответствия в других языках (лат. *oculus* «глаз»). Первичное значение сущ. *глаз* — 'шарик, кругляш'. В значении 'орган зрения' существует только в русском языке и фиксируется памятниками с XVI века. С этим новым значением оно и встречается в новгородских запис-

ных кабальных книгах. Во множественном числе употребляются оба слова, а в единственном только *глаз*: *на правом глазе бельмо, левой глас прижмуривает* и под. В описании внешности одного человека нередко соседствуют оба названия: *А ростомъ Ивашко невеликъ, молодъ, лѣтъ въ шестнацать, очи серы, лѣвой гласъ крѣвъ*.

Существительное *борода* употребляется в двух значениях: 'подбородок' (*на бороде бородавица, голобород*) и 'волосаянй покров на нижней части лица' (*а бороду брѣветъ и щиплетъ*). Волосы, растущие от висков по щекам (бакенбарды), называются словом *бруди*: *бруди отпущены, бруди невелики, брудей нетъ*.

Слово *ягодица* (встретилось только один раз) сохраняет свое древнее значение 'щека': *на левой стороне ниже ягодицы къ усу близко бородавка, а на ней клочокъ волосовъ*. Однажды встретилось существительное *стегно* 'бедро': *на левом стегне рана бывала*.

При перечне примет кабальных холопов основное внимание обращается на признаки, заложенные от природы — на цвет глаз, волос, лица, форму лица и носа, у мужчин — на цвет, величину, форму бороды, усов. Кроме врожденных, называются признаки чем-либо примечательные и резко выделяющие данное лицо среди других: увечья, уродство и пр.

Приметы передаются именами прилагательными, словосочетаниями, целыми предложениями.

Именами прилагательными или сочетаниями имен прилагательных с существительными обозначаются признаки врожденные: цвет (лица, волос, глаз), форма, величина (носа, лица, бороды), рост.

Круг названий цвета невелик, так как в цвете волос, глаз и лица не может быть большого разнообразия: *очи белы, буры, кары, красны, русы, серы, смуглы, соловы* 'желтоваты', *черны*; *волосом бел, бур, рус, рыс* 'рыжий' (см. *рысь* — А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1914), *сед, смугл, чермен* (красный, рыжий), *черн, каръ*; *лицом (рожеем) бел, красен, рус, смугл, румян, чермен, черн*.

Точность в обозначении достигается передачей самых тончайших оттенков цвета по признаку яркости. Сравним, например, оттенки русого цвета: *белорус, рус, избела, изруса, светлорус, краснорус, исчермна рус, рус прочермень, истемна рус, темнорус, чернорус, на черне рус, рус изчерна*.

Для обозначения величины бороды, усов, степени полноты лица, тела, формы лица, носа, бороды, лба, помимо прилагательных, известных и современному русскому языку (борода невелика, нос короток, сухопар, щупловат и под.), употребляются и такие, которые со временем утратились или встречаются теперь только

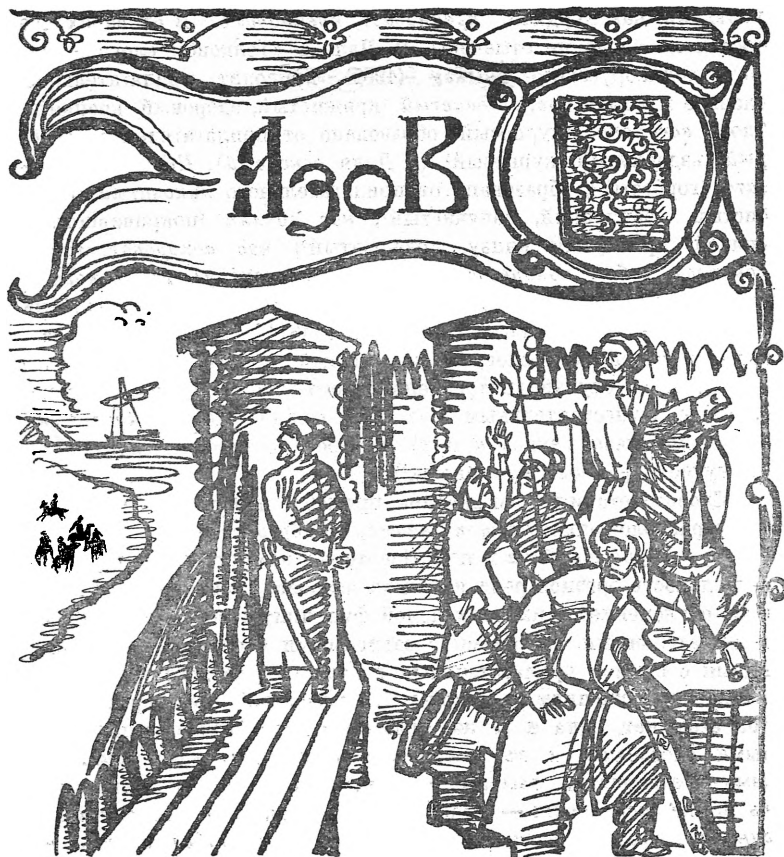
в говорах: *сухмян* 'сухопар'; *курдюковат* 'толстый, жирный, неуклюжий, как курдюк', *крекноваст*, *крекноватъ*. В словарях два последних слова не отмечены. В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» (1955) приводит прилагательное, близкое к ним — *кре[я]ковистый* 'кряжистый, здоровый, крепкий'. Слово *вскорнос* 'курносый' образовано от прилагательного *вскорый* 'вздернутый, курносый' (у Даля *вскорый*). *Нос перелуковатъ* 'горбатый', образовано от прилагательного *луковатый* 'изгибистый, извилистый, излучистый'; *нос покляп* 'покривившийся, кривой, пригнутый книзу, крюковатый'; *нос кокороват*, *лицом кокорова*, *собою кокоревата* 'похожая на кокору', где *кокор* — «отесанное с одной стороны бревно с толстым корневищем» (Словарь Академии Российской. СПб., 1814); *корконос* — образовано от старинного слова *коркъ* 'малый, короткий'; *нос курчоват* — редкий случай употребления этого прилагательного в сочетании с существительным *нос*. Образовано оно из *кучерявый* (после метатезы звуков *ч* и *р*), которое восходит к слову *кукъ* 'согнутое' (срв. болг. *кука* 'крюк').

Словосочетания, называющие приметку, нередко указывают и на ее расположение: *на щоки знамя*, *на лбу бородавка*, *а въ очехъ белмо*, *на зубе щербина* и под. Некоторые приметы характеризуют деятельность органов речи и зрения человека, указывая на то или иное отклонение от их нормальной функции; передаются именами прилагательными, глаголами с зависимыми словами, словосочетаниями с именем прилагательным в качестве главного члена и целыми предложениями. Какой-либо смысловой дифференциации при этом нет, одна и та же примета может быть передана разными способами: *а въ языцы закиваетца*, *языкомъ заикливъ*; *языкъ заиковатъ*, *языком пришепеливает*, *языкъ шепетливъ*, *въ языке шепелеватъ* — 'нечисто выговаривает'; *в нос гнусае* и *гунлив* 'гнузавый, косноязычный'; *очми мало видит* и *очми недолука* 'слаба зрением'; *левой глас прижмуривает* или *правой глас заплющивает* и *очми моргослеп*.

Прилагательное *приличный* употребляется в значении 'похожий': *Парасковьица на третьем году, прилична матери*.

В наше время уделяется большое внимание изучению языковых особенностей памятников древнерусской письменности. Заслуживает более пристального исследования и лексика, отражающая словесный древнерусский портрет.

А. Н. МИРОСЛАВСКАЯ
Ярославль
Рисунок Б. Захарова



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ XVII ВЕКА

Эта статья знакомит читателей с поэтической «Повестью об азовском осадном сидении донских казаков».

В 1637 году Великое войско донское по своей инициативе захватило у Османской империи город Азов. Казаки хотели присоединить его к России, но для этого было необходимо, чтобы их победу признал русский царь Михаил Федорович. Царь же был

заинтересован в мире с турецким султаном, и казаки в Азове застыли без поддержки России. Они удерживали за собой Азов четыре года. В июне 1641 года армия турецкого султана осадила крепость, но взять город не смогла. После четырехмесячной осады турки с позором ушли. Однако победители были предельно истощены и как никогда нуждались в поддержке России. Великое войско донское отправляет в Москву послов с отпиской — официальным документом, где сообщалось о победе и содержались просьбы к царю о помощи и о присоединении Азова к России. В числе казацких послов был и Федор Иванович Порошин, предполагаемый автор «Повести об азовском осадном сидении...». Бывший холоп князя Н. И. Одоевского, он некоторое время работал в канцелярии князя при дворе московского царя. Потом бежал на Дон и стал подьячим Великого войска донского. Известно, что Ф. И. Порошин участвовал в обороне Азова 1641 года, а потом под вымышленным именем был направлен в числе казацких послов в Москву. Он, конечно, знал текст официальной отписки и, возможно, был одним из ее составителей. «Повесть об азовском осадном сидении» — художественный вариант этой отписки. Он появился в придворных кругах во время пребывания послов в Москве и, по-видимому, был создан с целью привлечь симпатии членов боярской думы на сторону казаков. Посольство не добилось присоединения Азова к России. Казаков, членов посольства, с наградами отпустили на Дон, а Ф. И. Порошина из Москвы отправили в Сибирь. Этот человек с трагической судьбой, о котором мы так мало знаем, по-видимому, не был писателем (другие его произведения неизвестны). «Повесть об азовском осадном сидении...» написана талантливо и представляет собой оригинальное произведение, в котором творчески использованы лучшие достижения русской литературы XVII века.

«Июня в 24 день в ранней самой обед пришли к нам (под Азов — *М. П.*) паши его и крымской царь и наступили они великими турецкими силами. Все наши поля чистые от орды нагайския, где у нас была степь чистая, тут стали у нас однем часом, людьми их многими, что великия непроходимыя леса темные. От силы их турецкие и от уристания конского земля у нас под Азовым погнулась и реки у нас из Дону вода волны на берегу показала, уступила мест своих, что в водополи. Почали оне, турки, по полям у нас ставица шатры свои турецкие и полатки многие... Почали у них в полках их быть трубы большие в трубы великия, игры многия, пски великия несказанные, голосами страшными их бусурманскими. После того у них в полках их почала быть стрельба мушкетная и пушечная великая. Как есть стояла над нами страшная гроза небесная, будто молние, коль страшно гром живет

от владыки с небесе. От стрельбы их той огненной стоял огонь и дым до неба, все наши градские крепости потряслися... и луна померкла во дни том светлая, в кровь обратилась, как есть наступила тма темная... И пришли к нам самую близостию к городу стекшися, оне стали круг города... в восьм рядов от Дону, захвата до моря рука за руку. Фитили у них у всех янычар кипят у мушкетов их, что свечи горят. А у всякого головы в полку янычаней по двенатцати тысящей. И все у них огненно, и платье на них, на всех головах яныческих златоглавое, на янычанях на всех по збруям их одинакая красная, яко зоря кажется. Пищали у них у всех долгие, турецкие з жаграми. А на главах у всех янычаней пашки, яко звезды кажутся. ...Да с ними ж тут в ряд стали немецких два полковника с салдатами. В полку у них солдат 6000» (Здесь и далее цитируется по книге: «Изборник». — «Библиотека всемирной литературы», М., 1969). Так описывается в «Повести» приход турецкой армии под стены Азова. Это подробное описание несметной силы врага является как бы прологом. В нем уже намечены основные жанровые и композиционные особенности всего произведения, от него исходят все линии описываемых событий, в нем заложены основы образной системы повести и обозначен ее стиль.

Анализируя литературное произведение, написанное в XVII веке, необходимо представлять себе, что к этому времени в русской литературе уже сложились определенные традиции в использовании художественных средств языка и приемов композиции. В светской литературе определился и достиг расцвета жанр воинских повестей, к которому многие исследователи относят и «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков». Действительно, в повести во многих случаях используются художественные достижения и формальные приемы, характерные для воинских повестей, но содержание и цель, с которой была написана «Повесть», отличались своей спецификой и не могли быть выражены в традиционной форме. Основные отступления здесь от канонов жанра воинских повестей касаются выбора героя и позиции автора (рассказчика). В воинских повестях обычно воспевается князь, действуют воины его дружины, иногда княгиня, показаны друзья и враги князя. В «Повести об азовском осадном сидении» нет описаний действий или поступков конкретных лиц, в ней не названы ни казаки, ни их атаманы. Здесь используется обычная форма деловых отписок Великого войска донского, которые писались как бы от всех казаков в первом лице множественного числа. Эта форма рассказа влечет за собой употребление необычных обобщенных образов. Например, в конце повести при описании крайне тяжелого положения осажденных в крепости, мы чи-

таем: «Уже наши ноги под нами подогнулись и руки наши от обороны уж не служат нам, замертвели, уж от истомы очи наши не глядят, уж от беспрестанной стрельбы глаза наши выжгли, в них стреляючи порохом, язык уш наш во устах наших не воротица, на бусурман закрытьчть — таково наше бессилие, не можем в руках своих никакова оружия держать. Почитаем мы уж себя за мертвой труп».

Другое серьезное отступление от традиции жанра воинских повестей — позиция автора. Поскольку «Повесть об азовском осадном сидении...» написана от лица всех казаков, включая и автора, в ней нет собственно авторской речи. Автор, или рассказчик, никак не выделен и ничем не противопоставлен остальным казакам. Он не наблюдатель, не очевидец, а участник событий. В традиции литературного жанра воинских повестей обычно рассказчик представлен в позиции наблюдателя или лица, обобщившего сведения о давних событиях. Он оценивает поступки героев и разъясняет значение происходящего. Разработаны традиционные приемы таких авторских оценок. Например, для того чтобы возвести те или иные события в ранг идеологической борьбы, которая в те времена сопровождала утверждение христианства, рассказчик часто повествует о заступничестве небесных сил, о разного рода знаках, знамениях, приметах и пр. Для придания рассказу торжественности вводились художественные и поэтические средства, принятые в фольклоре.

Автор «Повести об азовском осадном сидении...», безусловно, талантливый и образованный человек, имеющий тонкий вкус и знающий литературу своего времени. Для него и для его читателей именно эти традиционные приемы несут в себе подлинную художественную убедительность. Так, доказывая, что защитники крепости отстаивают правое (угодное богу) дело, автор рисует знаменательные появления святых мужей, богородицы и сражающихся на стороне казаков невидимых небесных воинов; однако об этих знаках благоволения небес сообщается не в авторской речи, о них рассказывают сами казаки и пленные турки, или казаки догадываются о их помощи, когда видят трупы врагов, рассеченные надвое ударами нечеловеческой силы.

Как видим, подобран традиционный материал, указывающий на высокое значение дела, которое защищают казаки. Автор Повести вправе рассчитывать на нужную ему оценку действий казаков со стороны читателей, так как за всеми использованными им символами в литературной поэтике того времени уже утвердился постоянный смысл.

Своеобразное использование традиционных приемов обнаруживается и в фольклорных элементах Повести, например: *поля чи-*

стые; зраги стали, что леса темные; земля под врагами погнулась и в реке вода волны на берегу показала, уступила мест своих, что в водополи; луна померкла... в кровь обратилась, наступила тма темная. На предложение врагов сдать крепость без боя казаки отвечают:

«Давно у нас в полях наших летаючи, а вас ожидаючи, хлекчут орлы сизые и грают вороны черные подле Дону, у нас всегда брешут лисицы бурые, а все они ожидаючи вашего трупу бусурманского». Эти и другие примеры использования фольклора обычные для литературы того времени. Отличает же Повесть отсутствие речи рассказчика, где полагалось бы быть фольклорным вставкам, украшающим и возвышающим стиль. Здесь же вставки оказываются в речи казаков, характеризую их самих как носителей поэтического строя мыслей. Элементы фольклора, символы покровительства небесных сил, их традиционный набор и характер употребления должны определенным образом повлиять на чувства читателей, но выводы и оценки читатель должен сделать сам, опираясь на традиции, сложившиеся в русской художественной культуре.

Таким образом, использование необычной для литературного произведения формы деловой отписки оказывается художественно оправданным приемом, и обусловленная этой формой композиционная деталь — отсутствие в Повести речи рассказчика — служит идее создания собирательного образа донского казака, наделенного традиционными чертами героя, а, кроме того, умом и поэтическим воображением, присущими обычно лишь автору-рассказчику.

«Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» построена так, что о чертах характера казаков в ней ничего не говорится прямо. Читатель как бы призван сам извлекать информацию о героях и обстоятельствах, сопоставляя и оценивая части и детали целого. Стержнем и основой при этом служит пронизывающее всю повесть противопоставление казацкого войска турецкой армии — не только в военном, но и в нравственном плане.

Подобное противопоставление двух миров — своего и чужого — характерно для древнерусской литературы. Автор использует эту традицию как прием, углубляющий содержание всей повести, она приобретает второй план. Приведенный в начале этой статьи эпизод, где казаки описывают приход турок под стены крепости, так включен в смысловую и формальную ткань рассказа, что читатель может узнать не только фактические данные об армии турецкого султана, но и то, что казаки — бывалые войны (они узнают военные подразделения, детали вооружения и снаряжения врага), что они — мужественные и смелые люди (не впали в

панику, а спокойно, со знанием дела все рассмотрели и оценили). Подробное и обстоятельное описание турецкой армии создает сначала впечатление несметной и грозной силы, однако в дальнейшем мы замечаем неуместную пышность и пестроту, разнородность вражеских полков, а в конечном счете плохую и бестолковую организацию турецкого войска. О вооружении же казаков и об устройстве обороны крепости прямо ничего не сообщается. Но, поскольку все приступы и атаки турок кончаются провалом, естественно предположить четкую организацию, слаженность и дисциплину на стороне казаков. Поэтому признание — «страшно нам добре стало от них в те поры и трепетно и дивно несказанно» — в контексте всей повести воспринимается лишь как изобразительный прием, а не как свидетельство подлинного испуга. Бескорыстие, нравственную чистоту, верность воинскому долгу защитников крепости автор подчеркивает, рассказывая о нравах врага, в стане которого царит власть денег. Деньги предлагаются казакам за сдачу крепости без боя, на что они с возмущением и насмешкой отвечают: «Ради мы вас завтра подчивать, чем у нас молотцов в Азове бог послал. Поезжайте от нас к своим глупым пашам, не мешкая. А опять к нам с такою глупою речью не ездите... А кто к нам от вас с такою речью глупою опять впредь буде, тому у нас под стеною убиту быть».

Турки пытаются запугать осажденных очевидным превосходством своих сил и одновременно предлагают казакам перейти на службу к турецкому султану, обещая, что «пожалует наш государь, турецкий царь, вас, казаков, честию великою. Обогатит вас, казаков, он, государь, многим неизреченным богатством». При этом они используют бесправное положение казаков в России и напоминают им о том, что Россия не придет им на помощь.

Подлинным трагизмом звучит внешне озорной ответ казаков: «Да вы ж нас, бусурманы, пужаете, что с Руси не будет к нам запасов и выручки... И мы, про то сами ж и без вас, собак, ведаем, какие мы в государстве Московском на Руси люди дорогие и к чему мы там надобны. Черед мы свой сами ведаем. Государство великое и пространное Московское многолюдное, сияет оно посреди всех государств и орд бусурманских и еллинских и персидских, яко солнце. Не почитают нас там на Руси и за пса смердящаго. Отбегохом мы ис того государства Московского из работы вечныя, от холопства полного, от бояр и дворян государевых, да zde вселилися в пустыни непроходные, живем, взирая на бога. Кому там погужить об нас? Ради там все концу нашему. А запасы к нам хлебные не бывают с Руси николи. Кормит нас, молотцов, небесный царь на поле своею милостию... Питаемся, ако птицы небесныя: ни сеем, ни орем, ни збираем в житницы... А сребро и

золото за морем у вас емлем. А жены себе красные луббы, выбираючи, от вас же водим...». В этих словах слышится гордость, независимость, моральное превосходство казаков над теми, кто способен на предательство ради личных благ.

Черты трагической обреченности героя типичны для воинских повестей. Однако трагизм положения казаков приобретает еще и социальное звучание: для них нет возврата на горячо любимую родину, они обречены умереть на чужбине.

Своеобразие «Повести об азовском осадном сидении донских казаков» в том, что, несмотря на ее героическое и даже трагическое содержание, в ней есть элементы юмора, который еще более подчеркивает отсутствие страха и чувство превосходства казаков перед турками:

«Видим всех вас и до сех мест про вас ведаем же, силы и пыхи царя турецкого все знаем мы. И видаемся мы с вами, турецкими почасту на море и за морем на сухом пути. Знакомы уж нам ваши силы турецкие».

Смелость, ловкость и смекалка казаков оказались сильнее хитроумных осадных затей турок с их подкопами, насыпями и пр. Казаки подорвали турок их же порохом. Лукавая усмешка слышится в спокойном как будто замечании казаков по этому поводу:

«И мы милостию божией устерегли все те подкопы их, порохом всех их взорвало и их же мы в них подвалили многие тысящи. И с тех то мест подкопная их мудрость вся миновалась, постыли уж им те подкопные промыслы». Чувство юмора существенно дополняет характер донского казака, добавляя к образу героя-подвижника тепло и человечность,

Собирательный образ донского казака, несмотря на то, что он лишен индивидуальности и даже имени, создает яркое представление о русском человеке XVII века, о его подлинных мыслях и чаяниях. Более того, мы узнаем у казаков такие черты, которые находим в образах русского солдата в последующей литературной традиции. Представляется, что не будет натяжкой сравнение донского казака XVII века с Василием Теркиным Твардовского (ведь высокий патриотизм, скромность, военная сметка, удаль, юмор, храбрость — общие черты этих героев).

«Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» — замечательный памятник воинского героизма, патриотизма и самоотверженности защитников Азова. Автор обессмертил подвиг своих товарищей по оружию и донес до нас дорогие нам черты русского воина XVII века.

М. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Рисунок В. Комарова



УЧЕНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПРОПАГАНДИСТ

С большим удовлетворением в научных и литературных кругах встречен указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического труда лауреату Ленинской и Государственных премий академику Борису Александровичу Рыбакову за большие заслуги в области археологии и исторической науки, подготовке научных кадров и в связи с семидесятилетием.

Академик Б. А. Рыбаков — вдохновенный и неутомимый исследователь прошлого нашей Родины, славянского этногенеза и исторических судеб славян, многовековой культуры восточнославянских народов — русского, украинского и белорусского. Его труды «по праву можно назвать энциклопедией древнерусской культуры. В них с отличным знанием фактов охвачены различные стороны жизни и культуры древнерусского народа, общества и государства», — писал академик А. П. Окладников («Правда», 16 марта 1976).

Уже в 1928 году в сборнике студенческого научного кружка Московского университета появилась первая статья Б. А. Рыбакова. И с тех пор все чаще и чаще на страницах научных изданий стали публиковаться его работы. Ученым опубликовано свыше четырехсот работ. Многие из них — выдающиеся монографии и основополагающие статьи по разным проблемам этногенеза и истории славян, по экономике, истории ремесла и искусства, по летописанию и народному эпосу, по вспомогательным историческим дисциплинам — эпиграфике, палеографии, метрологии и хронологии.

Для научного творчества Б. А. Рыбакова характерно большое количество и поразительное разнообразие используемых источников, умение исследовать иногда на первый взгляд разрозненные

факты и выработать новую методичку анализа многочисленных частных явлений.

Многие выводы Б. А. Рыбакова имеют огромное значение для истории русского и других славянских языков, для филологической науки в широком смысле этого слова.

Занимаясь проблемой происхождения славян, Б. А. Рыбаков исследует не только вещественные археологические источники — предметы материальной культуры, но и устное народное творчество, письменные памятники. Среди последних — летописи, берестяные грамоты, надписи, архивные документы. В результате ученому удалось выявить не только границы племен, перечисленных в «Повести временных лет», но и области расселения более мелких этнических групп.

Б. А. Рыбаков — создатель большой серии исторических карт. Им составлено около 50 карт Восточной и Центральной Европы, отражающих историю этих территорий с IX по XVII века. Карты эти имеют большое значение и для изучения истории русского языка в разные ее периоды, для диалектологических исследований, особенно для изучения диалектов методами лингвистической географии. Эти работы широко ведутся в нашей стране: в настоящее время составляются атласы не только русских и украинских диалектов (атлас белорусских языков уже создан), но также общеславянский атлас и атлас языков Европы. Для всех исследований, которые будут проводиться по этим атласам, карты, разработанные Б. А. Рыбаковым, будут иметь огромное значение как важнейшие исторические источники.

Академику Рыбакову принадлежат и специальные исследования в области филологической науки. Таковы прежде всего книги «Древняя Русь. Сказания, былины, летописи» (1963) и «Русские датированные надписи» (1964), а также капитальные труды о величайшем памятнике древнерусской литературы «Слове о полку Игореве»: «„Слово о полку Игореве“ и его современники» (1971), «Русские летописцы и автор „Слова о полку Игореве“» (1972).

В них Б. А. Рыбаков показал, что былины — это предшественники русских летописей, своеобразные устные хроники, рассказанные самим народом. В них в художественной эпической форме велось повествование о реальных событиях далекого прошлого. Например, в былине о Вольге и Микуле отразился реальный исторический факт — сбор народного ополчения против кочевников тысячу лет тому назад — в 970-е годы.

В книгах и статьях, посвященных «Слову о полку Игореве», Б. А. Рыбаков обрисовал героев «Слова», их предшественников и современников, взгляды, деяния и взаимоотношения этих людей. Среди них предстали и известные исторические деятели, и без-

вестные летописцы, и сам гениальный автор поэмы. Б. А. Рыбаков уточнил время создания «Слова» и вынес свое суждение о дальнейшей истории этого произведения (см.: «Русская речь», 1972, № 4, с. 93).

Для лингвистов-русистов крайне важны и общесторические заключения Б. А. Рыбакова по истории восточнославянских народов. Ведь время, войны, нашествия, пожары погубили великолепные деревянные постройки прошлого, уничтожили целые города, привели к гибели огромный фонд письменных памятников (см.: «Сколько книг было в Древней Руси?». — «Русская речь», 1971, № 1). Но академик Рыбаков кропотливо собирает и анализирует археологические источники и дает науке новые убедительные свидетельства о состоянии ремесел и культуры, о городе и государственности на Руси в первые века текущего тысячелетия. Уже в 1948 году в своей выдающейся монографии «Ремесло Древней Руси», впоследствии отмеченной Государственной премией, Б. А. Рыбаков вскрыл роль ремесел и прикладного искусства в жизни древнерусского общества и сделал принципиально важные и новые выводы о высоком уровне развития всей культуры Древней Руси, о видном месте ее в международной жизни того времени.

Для понимания процесса становления общего древнерусского языка, обслуживавшего не только нужды церкви, но и внутрисударственных и межгосударственных связей, очень важно иметь в виду вывод академика Рыбакова о городе как передовом ремесленном центре, а не паразитирующем торговом образовании, как полагали буржуазные историки и их последователи. Не менее существенно заключение Б. А. Рыбакова о том, что XII век — это не время феодальной раздробленности и загнивания, но период развитого феодализма, время наибольшего подъема производительных сил и роста городов, в результате чего в домонгольской Руси произошла кристаллизация отдельных княжеств-королевств, каждое из которых размерами превосходило любое из западноевропейских государств. Крупнейшие из этих княжеств представляли собой самостоятельные государства, а столицы их были центрами больших экономических областей и средоточием культуры в разных ее проявлениях: особенности ведения хозяйства, ремесел, строительства, военного дела, разных форм искусства, науки, и, что для нас особенно важно, — письменности.

Разыскания Б. А. Рыбакова по книжному делу в Древней Руси имеют непосредственное значение для языковедов-русистов. Они подводят твердую базу под изучение письменной культуры в разных ее проявлениях.

Л. П. ЖУКОВСКАЯ



РУССКИЙ
ЯЗЫК
В
СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

В ИНТЕРЕСАХ СОТРУДНИЧЕСТВА И ДОБРОСОСЕДСТВА

Русский язык является сегодня одним из ведущих языков эпохи научно-технической революции, языком передовой идеологии, экономики, науки; он вызывает глубокий интерес у многих миллионов людей планеты, ибо открывает им доступ ко всем богатствам, накопленным и создаваемым человечеством.

В этом массовом движении за овладение русским языком Федеративная Республика Германия не является исключением. Правда, в ФРГ распространение русского языка имело свои особенности.

В первые послевоенные годы реакционные круги Западной Германии делали все возможное, чтобы создать в стране враждебное отношение ко всему русскому. Такая политика способствовала тому, что ФРГ в то время находилась на одном из последних мест среди стран Западной Европы в области преподавания русского языка. До середины 50-х годов русский язык в Западной Германии преподавался лишь в нескольких университетах в ряду так называемых «экзотических» дисциплин. Неестественность подобной ситуации в стране, имевшей давние культурно-исторические и языковые контакты с русским народом (первые дошедшие до нас сведения об изучении немцами русского языка относятся еще ко времени Киевской Руси), была очевидной. Заметим, что в другом германском государстве — в ГДР — русский язык

с самого начала воспринимался как средство демократизации немецкого общества и воспитания трудящихся в духе пролетарского интернационализма, к этому времени изучение русского языка в ГДР приобрело поистине массовый характер. Пропаганда исторических русско-немецких связей, успехов СССР в строительстве социализма вызывает естественный интерес населения к русскому языку.

Демократическая общественность ФРГ, передовые учителя все настойчивее выступали за его введение в систему национального образования, так как этого требовали жизненно важные интересы самой Федеративной Республики. Наконец, следуя практической необходимости, Федеральная конференция министров культов в октябре 1956 года приняла рекомендацию о введении русского языка в систему среднего образования, а с 1961—1962 учебного года он стал преподаваться как обязательный предмет в двенадцатом и тринадцатом классах гимназий, наряду с английским, французским, латинским и древнегреческим.

В чем же заключалась эта практическая необходимость, со всей остротой поставившая проблему значительного расширения преподавания русского языка? Красноречивым ответом могут служить результаты опроса, проведенного в 1964 году Германским обществом по изучению стран Восточной Европы с целью выяснения возможностей применения русского языка специалистами разных отраслей знания. Подавляющее большинство из опрошенных 117-ти государственных и частных научных и хозяйственных учреждений ФРГ высказалось за расширение преподавания русского языка, ссылаясь прежде всего на возрастающее значение советской научно-технической литературы. В одной из анкет отмечалось, что даже непрерывный поток переводов почти ста советских научных журналов недостаточен по сравнению с возможностью читать советскую литературу непосредственно. Директор Института коопераций при Мюнстерском университете Э. Боттхер указал на необходимость знания русского языка для ученых естественнонаучного профиля, а директор семинара истории социально-экономических отношений Марбургского университета И. Бог признал, что хорошее знание русского языка при сдаче магистерского экзамена может заменить «великую латынь». В пользу русского языка выдвигались и другие аргументы — к этому времени назрела необходимость в непосредственном общении западногерманских специалистов с советскими коллегами в различных областях науки и техники. Математика, физика, химия, геология, медицина, агрономия, педагогика, международное право, экономика, торговля — вот далеко не полный перечень тех областей научной и общественной деятельности, в которых, как установили организаторы опроса, требовались специалисты с хорошим знанием русского языка.

Показательной для сценки роли русского языка как средства международного общения является позиция кафедр славистики западногерманских университетов, наиболее конкретно выраженная в письме профессора Д. Чижевского, который считал, что спрос на образованных людей со знанием русского языка как никогда очень высок. По его мнению,

только знакомство с информационным потенциалом на русском языке вызывает необходимость выделения 4.000 мест для преподавателей русского языка в гимназиях.

С осознанием реальной ценности русского языка как средства освоения интернационально важных достижений Советского Союза в области науки и техники пришло и понимание его как хранителя непреходящих духовных ценностей. Авторы многочисленных газетно-журнальных публикаций стали подчеркивать, что русский язык и литература таят в себе огромные возможности в смысле познания современного мира и формирования личности.

Осознание практического значения русского языка повлекло за собой и его пропаганду. Прежде всего расширилось его преподавание в гимназиях. Уже в 1961 году русский язык изучали более 6.500 учащихся в 290 гимназиях. Были пересмотрены учебные программы по русскому языку для гимназий. Так, в программе земли Рейнланд-Пфальц за 1963 год он рассматривался как «первейший источник информации», имеющий «высокую просветительную ценность» и приносящий «практическую пользу». К концу 60-х годов русский язык изучался уже в каждом западногерманском университете. В кампанию по популяризации его изучения включились радио, телевидение, пресса ФРГ.

Новый поворот в политике Западной Германии и связанное с ним расширение политических, экономических и культурных контактов между СССР и ФРГ вызвал живой интерес к русскому языку и поощрение его преподавания на разных уровнях системы образования и вне ее.

Распространение русского языка в ФРГ сегодня свидетельствует о его укоренении в системе среднего образования: русский язык изучают почти 20 тысяч школьников в 600-х гимназиях. Постоянно растет число учащихся, выбирающих его как обязательный предмет. Кроме того, постоянно растет и число гимназий с обязательным преподаванием русского языка (с 1967 по 1974 год их число выросло более чем в 12 раз). В последние годы в ФРГ создан ряд учебников русского языка для гимназий, наибольшее распространение из которых получил «Русский язык сегодня» (в 3-х частях), созданный в сотрудничестве с советскими специалистами. В издательстве «Лангеншейдт» вышло много учебных пособий по русскому языку (словари, грамматики, хрестоматии, разговорники, учебные тексты на грампластинках). В учебном процессе в гимназиях широко используются книги советских авторов (например, комплекс учебных пособий «Русский язык для всех» под редакцией В. Г. Костомарова), а также советские газеты и журналы.

Заметно расширилось и преподавание русского языка в системе высшего образования ФРГ: сейчас его изучают более четырех тысяч студентов в двадцати западногерманских университетах. При четырех университетах ФРГ имеются институты переводчиков, где ежегодно русским языком занимаются около 350-ти студентов. Институты ставят своей целью подготовить литературных переводчиков, преподавателей, секретарей, ведущих деловую корреспонденцию, а также всех тех, кому для профессиональных нужд необходимо глубокое и

прочное знание русского языка. Около 1.500 студентов изучают русский язык в вузах технического профиля, чтобы иметь возможность читать в оригинале советскую литературу по специальности.

Определенные сдвиги наметились и в подготовке преподавателей русского языка. Если в 1963 году в стране было всего 73 преподавателя русского языка, то теперь их количество выросло более чем в 10 раз. Русисты имеют возможность повысить свою квалификацию и в ФРГ и в СССР на различного рода семинарах и курсах. Особой популярностью пользуется семинар, проводимый в Тиммендорферштранде (на побережье Балтийского моря), число участников которого за 10 лет увеличилось с 40 до 250 человек. В его работе принимают участие более двадцати опытных советских методистов и преподавателей русского языка. В 1973 году в городе Бохуме был создан учебный институт русского языка земли Северный Рейн—Вестфалия (так называемый «Руссикум»), организуемый интенсивные курсы русского языка для преподавателей, студентов-русистов, а также для научных сотрудников, инженеров, экономистов, дипломатов. В 1977 году этот институт окончили около 700 человек.

Большую популярность среди населения приобрели так называемые «высшие народные школы», где преподается русский язык, которые по своему характеру напоминают советские университеты культуры. Если в 1966 году таких школ насчитывалось сто семьдесят одна, то сейчас их уже более 250. В целом по этой системе в 200 городах ФРГ русский язык изучают около 8 тысяч человек.

Распространенной и трудно поддающейся количественному учету формой изучения русского языка являются курсы по радио и телевидению, а также курсы русского языка, проводимые различными торговыми и промышленными фирмами. По имеющимся данным, только в 1969 году по телевидению ФРГ русский язык изучали 40 тысяч человек.

Наконец, не последнюю роль в укреплении позиций русского языка в Западной Германии играет издательская деятельность — распространение литературы на русском языке, которое производится, в частности, фирмами «Брюккен-ферлаг» и «Кубон и Зангер».

Итак, русский язык в ФРГ в настоящее время изучают более 50 тысяч человек. Эта статистика уже сама по себе показывает, что процесс распространения русского языка в этой стране является развивающимся и постоянно крепнущим. Этому способствуют совершенствование организации подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров, расширение учебной базы, проведение культурно-пропагандистских мероприятий по популяризации изучения русского языка.

Пример ФРГ показывает, что объективные потребности развития современного мира неуклонно ведут к широкому изучению русского языка в самых различных странах, к укрупнению его в мировой системе просвещения, в науке, в общественной жизни.

В. С. ЛИЗУНОВ
Рисунок В. Комарова

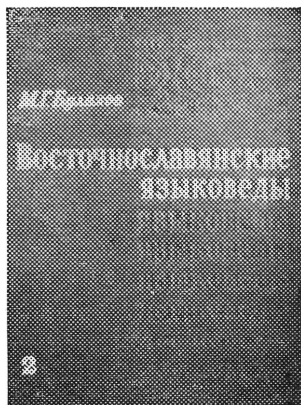
М. Г. Булахов

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

В 1977 году вышел второй том биобиблиографического словаря М. Г. Булахова «Восточнославянские языковеды» (информация о первом томе, который опубликован в 1976 году, была помещена в № 1 журнала «Русская речь» за 1977 год). Первый том был посвящен жизни и деятельности ученых-языковедов XVI—XIX веков, во второй и третий тома, по замыслу автора, войдут персоналии крупнейших языковедов начиная с 80-х годов XIX века до наших дней.

Во втором томе помещены 82 статьи на буквы А—К. Каждая статья представляет собой краткий обзор жизни и деятельности ученого, в котором приводятся биографические факты, перечень основных трудов с указанием даты их написания или опубликования, характеристика наиболее важных трудов, а также прилагается перечень публикаций о жизни, научной, педагогической и общественной деятельности.

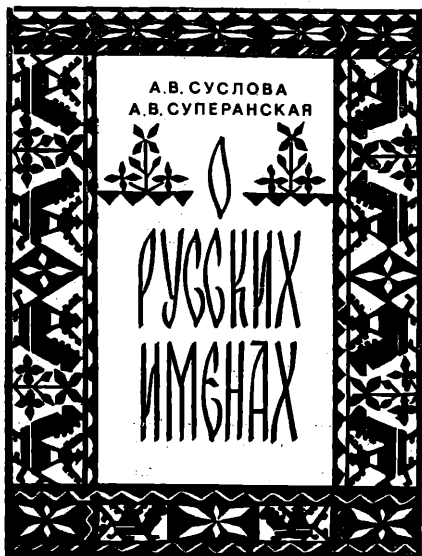
М. Г. Булахов проделал трудоемкую и кропотливую работу для получения биобиблиографических сведений, используя много разнообразных источников. Среди них основными явились филологиче-



ские издания Академий наук СССР, БССР и УССР, общесоюзные и республиканские лингвистические журналы, ученые записки, юбилейные и тематические сборники научных трудов, сборники материалов и тезисов научных сессий, конференций и симпозиумов, информационные статьи и заметки, библиографические справочники и обзоры дореволюционного и советского периодов, энциклопедические и отраслевые словари (список этих источников приведен в конце второго тома).

Большой труд автора словаря, на что указывают в достаточной мере подбор и классификация фактического материала, направлен на то, чтобы в первую очередь показать расцвет и развитие славянской филологии, которое получили они в работах восточнославянских языковедов за последнее столетие. В книге также отмечен неограниченный вклад этих ученых в разработку проблем общего языкознания, русистики, украинистики, белорусистики.

С. Е. МОРОЗОВА



В этом году в Лениздате вышла научно-популярная книга «О русских именах» А. В. Сусловой и А. В. Суперанской. Небольшая по своему объему книга включает богатый материал о старых и новых именах, исторически сложившихся в языке и специально придуманных совсем недавно, варианты имен, грамматические правила написания и изменения имен, отчество, фамилий, а также советы родителям в выборе имен новорожденному. Предлагаем читателю главу из этой книги — «Выбор имени новорожденному» (с небольшими сокращениями).

ЗАДОЛГО до появления ребенка начинают размышления по поводу имени будущего нового члена семьи. Как правило, «заготавливаются» и мужские, и женские имена. В выбор активно включаются не только родные — мать и отец, бабушки и дедушки, но даже и многие сослуживцы обоих родителей. В связи с этим складываются иногда комичные ситуации.

Противопоставле н и е имен русских и нерусских, старых и новых характерно для подобных ситуаций. Удача в выборе имени малышу не всегда приходит сразу, случаются споры и расхождения. Мучительные раздумья и поиски, про-

ВЫБОР ИМЕНИ НОВОРОЖ- ДЕННОМУ



смотр специальных словарей и перечней имен, как правило, приводят к хорошим результатам.

Некоторые родители соблазняются значимостью имен и иногда присваивают своим малышам в качестве имени слова, обозначающие желанные, приятные, романтические понятия: *Весна, Тайна* и т. п. Подобные имена не совсем чужды русскому языку, примером могут служить *Вера, Надежда, Любовь* (исторические переводы древних греческих имен *Пистис, Эллис, Агапе*) и имя *Богдан* (составленное из переведенных на наш язык основ греческого имени *Феодот* из *феос* — бог + *дот* — дан), которые были издавна в широком ходу у русского народа. Распространившиеся после Октябрьской революции благодаря своему значению имена *Свет* и *Света, Светлан* и особенно *Светлана* давались церковью в прошлом только в их греческих соответствиях *Фот, Фото, Фотий, Фотин, Фотина* (от греч. *фос, фотос* — свет).

Личные имена, образованные от имен нарицательных, употребляются у многих народов СССР, но в современном русском языке они несколько непривычны. Скорее приемлемы образования, в которых их нарицательное значение несколько приглушено, как в древнерусских *Добрыня, Голуба, Любава, Мудр, Храбр* или в тех же *Светлан* и *Светлана*.

Л. В. Успенский в своей книге «Ты и твое имя» очень точно определяет возможности применения имен нарицательных в роли

личных: «Дело только в привычке и непривычке. Самое простое и благозвучное имя нарицательное прозвучит для нас дико, если мы внезапно превратим его в имя собственное. В нем еще будет живо чувствоваться его непогашенное, неумершее первоначальное предметное значение». Такими непривычными в этой роли оказались в послереволюционное время *Трактор, Энергий, Электрификация* и другие.

В старом русском именнике сохранилось имя *Г'оразд* — возможно, единственное значимое русское имя. Некоторые исследователи таким же считают и имя *Сила*, хотя оно восходит к иноязычным источникам и лишь совпало по звучанию со словом русского языка. Имена *Радий, Воля, Искра* — новые, но они имеют глубокие корни в русском языке: *Воля* и *Искра* были в древности не только нарицательными, но и личными мужскими именами; в наше время они переосмыслены и связываются с историей революционного движения в России.

Итак, значимых имен в русском языке почти нет, если не принимать во внимание отдельные древнерусские и некоторые новые имена. Самыми привычными остаются старые русские календарные имена, не вызывающие предметных ассоциаций. Их много, и именно к ним прежде всего следует прибегать при выборе имени новорожденному. Основная масса родителей считает русские имена единственно возможными для своих детей, что подтверждается и статистикой. Однако в настоящее время используется не более 30—40 русских имен из всего богатства имен для каждого пола. Остальные имена остаются вне поля зрения родителей, видимо из-за недостаточной информации, а может быть, из-за отсутствия умения оценить и выбрать подходящее к отчеству и фамилии имя.

Личное пристрастие людей к отдельным именам знакомо многим. Часто оно бывает необъяснимо. Даже те, кто высказывает категоричные суждения об именах, подчас не могут выставить сколько-нибудь веских доводов для их подтверждения: «Не люблю, не переносу имени *Глеб*, не знаю почему». «Не люблю имени *Иван*, оно грубое». «Какое приятное, великолепное имя — *Иван*. Оно звучит коротко и просто, близко нашему сердцу». «Сколько у вас *Иванов* зарегистрировано?» — спросила одна из посетительниц «Малютки» и, услышав ответ — четыре на 1000 человек, заявила: «Пусть будет пятый», назвав этим именем своего первенца. «Люблю имена с удвоенными согласными», «Люблю имена на *Э*» — такие суждения можно слышать очень часто. Один из будущих молодых отцов сказал: «Если у меня родится мальчик, я назову его только двумя из этих имен: *Тихон* или *Фрол*. Мне давно нравятся эти имена».

С горечью и досадой говорит один из читателей журнала «Русская речь» Е. М. Антонов, представитель старшего поколения, о своем имени, которое незаслуженно порочили его знакомые: «Меня крестили в день Ефрема Сирина (28 января старого стиля), поэтому и присвоили имя этого святого... Лет до пятнадцати я не ощущал неловкости за свое имя, ибо никто не напоминал мне о том, что оно некрасивое: звучит оно довольно твердо. В душе своей я до сих пор не считаю свое имя некрасивым. Живи я до сих пор в деревне, в родной крестьянской стихии, не ощутил бы ни разу неприятностей из-за имени. Но жизненные обстоятельства рано привели меня в город. Здесь даже от людей одного со мной „низшего“ ранга услышал, что так некрасиво мое имя. При новых знакомствах из-за этого приходил в смущение» («Русская речь», 1969, № 6, с. 45—46).

По тому, что рассказано Е. М. Антоновым, сразу можно понять, что отрицательное мнение о его имени высказывалось людьми, мало осведомленными в истории русских имен и не отличавшимися хорошим вкусом, не говоря уж о такте. Имя это звучит энергично, оно ничуть не хуже всех других русских имен и, во всяком случае, по мнению многих людей, приятнее для русского человека, чем, к примеру, имя *Эдуард*.

В отношении к именам личные вкусы очень разнообразны. Одним нравится форма имени *Катерина*, другим — *Екатерина*, одни признают только форму *Даниил*, другие — только *Данила*, так же воспринимаются *Иларион* и *Илларион*, между тем каждый из этих вариантов может достаточно хорошо сочетаться с различными отчествами и фамилиями. Народные варианты лучше подходят к таким же народным формам отчеств и фамилий, старые календарные — к календарным, например: *Настасья Егоровна* и *Анастасия Георгиевна*. Однако это не обязательно. Все зависит от личного вкуса.

Принимая во внимание то, что в русском языке множество фамилий ведет свое начало от народных вариантов русских имен, можно сказать, что правильно поступают те, кто в подобных ситуациях выбирает имя в его народном звучании. Казалось бы, зачем давать девочке имя *Алёна* (от *Елена*), однако в сочетании с фамилией *Курносенко* выбор сделан правильно. Именно по своему типу некоторые древнерусские или новые и иноязычные имена не всегда подходят к отчествам от календарных русских имен и к образованным от них фамилиям: *Добрыня Анатольевич Левин*, *Иоланта Игоревна Москина*. Наиболее удачные сочетания получаются, как правило, при однотипности, однохарактерности частей целого, при едином национальном колорите полного именованья. Однако иногда получаются удачными самые неожиданные соче-

тания, и именно они содействуют развитию и расширению современного именника.

Родители при выборе имени ребенку принимают во внимание еще многое другое. Некоторые считают, например, что к длинному отчеству надо подбирать короткое имя и наоборот. Однако бывает, что многосложное имя и такое же отчество получаются изящными и нетрудными в произношении, а короткое с коротким звучит плохо (ср. *Анастасия Иннокентьевна* и *Лев Тигович*). Некоторые считают красивыми сочетания, если имя и отчество имеют одинаковые инициалы (*Вера Васильевна*). Иные говорят, что при начальном согласном в отчестве имя не должно оканчиваться на согласный и тем более повторять его. То же самое с гласными. Оба утверждения не всегда соответствуют истине.

Играют важную роль не отдельные звуки и даже иногда не слоги, а их сочетания, а также чередование ударных и безударных слогов в сочетаниях имен и отчеств. Сравните сочетания: *Роман Сергеевич* (согласные между частями, но переход плавный) и *Марк Тимофеевич* или *Альберт Трофимович* (значительно труднее для произношения, особенно при первом ударении в имени *Альберт*). То же в сочетании *Пётр Дмитриевич* — тут скопление согласных между двумя частями. В сочетании *Кузьма Иларионович*, *Вавила Афанасьевич* — также скопление, но гласных.

Некоторые пренебрегают такими мужскими именами, как *Галактион*, *Филарет*, *Максимильян* и другие, однако большинство таких имен дает прекрасные торжественные звучания в отчествах. Нельзя забывать о том, что мужские имена продолжают играть в языке большую роль, чем женские, так как они оформляют имя взрослого человека и как бы дважды проходят свой путь в семье, служа отчествами при наименовании следующего поколения.

Как неизвестны иногда окружающим причины, побуждающие назвать русских детей именами *Антуан*, *Мурат*, *Ричард*, *Тимур*, *Эдгар*, *Янис*, *Анжела*, *Виолетта*, *Лаура*, *Селена*, *Ядвига* или какими-нибудь придуманными именами, так же не поддаются объяснению и причины тяготения к тем или иным формам имен. Однако из практики известно, что большей частью основания к выбору в каждом конкретном случае бывают достаточно вескими и общественно оправданными. Иногда это внутрисемейная тайна. Именно поэтому ко всем личным именам, данным людям, так же как и к их полным сочетаниям, следует относиться с уважением.

Вот случаи, получившие отражение в печати, которые показывают обоснованность выбора необычных имен.

Русскую девочку, родившуюся на борту самолета Ил-18, называли *Илина*, повторив в ее имени частицу *ил* из обозначения его марки.

Английская сестра милосердия Маргарет Барбер, приехавшая в 1923 году работать в самый голодный район Поволжья, решила там остаться на всю жизнь. Она родила сына, которого называли *Компро*. «Имя сыну придумывали всей коммуной. Каждый предлагал самое заветное: у одной сын — Ванюшка — погиб на германском фронте, у другого брат — Колька — пал под Касторной, у третьего отца — Федора — убили кулаки, у четвертой муж — Степан — утонул в Волге.

— Стойте, мужики! Тихо, бабы! — прерывает шум председатель коммуны. — Мать спросить надо. Говори, аглицкая королева, как назовешь сына...

— *Компро*. Коммунизм, пролетариат. *Компро*. В нем имена всех, кто боролся...» («Правда», 14 февраля 1967).

В наши дни также придумываются новые имена: *Февралин*, *Мартий*, *Энглэн*, *Октомир* и т. п. Способы образования подобных имен отнюдь не новы, а известны с древнейших времен. Иногда они бывают удачными, если хорошо вписываются в систему имен данного народа.

О недостаточном количестве имен для выбора или об их однообразии в быту говорят только те, кто не знаком со всем их богатством. Ведь к русским относится огромная масса имен славянского и иноязычного происхождения, приспособленных за многие века их существования к употреблению в нашем языке, подобно тому, как русскими считаются тысячи заимствованных слов, принятых и освоенных нашим языком. Надо только разобраться во всем многообразии имен и их форм и использовать то, что нам подходит с точки зрения современного русского языка.

Красоту имен, как и всякую красоту, люди воспринимают по-разному, недаром на этот счет сложены поговорки. Тут играют роль разнообразные обстоятельства: возраст выбирающего имя (в этом деле очень часто принимают участие старшие члены семьи — дедушки и бабушки), место жительства, начитанность, эстетическое воспитание и просто здравый смысл. Как правило, у людей разных поколений вкусы не совпадают, так как складывались они в различных условиях.

Красивы очень многие русские имена, но значительная их часть встречается довольно редко, и поэтому о них забывают. Разве плохи имена *Арсений*, *Артемий* (или *Артём*), *Леонтий*, *Мстислав*, *Тарас*, *Степан* (или *Стефан*), *Ангелина*, *Васса*, *Ксения*, *Таисия* и многие им подобные?

Люди старшего поколения предпочитают традиционные русские календарные имена. Эти имена прошли через века, были близки многим поколениям людей и заслужили неизбежное признание. Конечно, нельзя ратовать за насаждение старинных русских имен без разбора, однако надо активно развивать существующие в отношении к ним предрассудки, связанные с пережитками пренебрежительного отношения к именам простого народа, которое в прошлом проявляли представители господствующих классов. Этим предрассудкам в какой-то степени продолжает содействовать наша классическая литература, а также старые народные поговорки и рифмовки.

Вспомним, что многие писатели использовали звучания и «значения» личных имен как особый литературный прием при характеристике представителей тех или иных слоев общества.

В настоящее время состав нашего будущего именика вырисовывается довольно четко. Наряду с известными и широко распространенными именами отдельные молодые семьи начинают обращаться к богатству старых, а также некоторых новых и иноязычных имен. Эти имена, отобранные молодыми людьми нашего времени, с полным основанием можно считать красивыми, так как они свободно и сознательно выбраны грамотными людьми со вкусом, присущим молодым людям нашего времени. В перечне имен, зарегистрированных во Дворце торжественной регистрации рождений «Малютка» [Ленинград], значатся, например, мужские *Артемий* и *Артём*, *Валериан*, *Викентий*, *Гордей*, *Игнатий*, *Макар*, *Никодим*, *Рюрик*, *Сильвестр* и женские *Варвара*, *Евдокия*, *Руфина*, *Софья* и другие.

Продолжая разговор о красоте имен, заметим еще один небезынтересный и важный факт: имя начинает казаться красивым, если оно напоминает человека красивого, здорового, умного, доброго, отзывчивого, героического — знакомого лично или по литературе. Не потому ли приятно звучат личные имена, принадлежавшие нашим замечательным предкам и современникам? Не потому ли некоторые прельщаются именами литературных персонажей?

«...Судьба человека может преобразить для нас звук и смысл его имени», — говорит в своей книге «Ты и твое имя» Л. В. Успенский. А откуда она, внутренняя красота человека, не от воспитания ли? Народ очень правильно оценивает имя человека как таковое. «Не смотри на кличку — смотри на птичку», — говорится в одной из народных пословиц. Следовательно, красота имени вторична, она проистекает из красоты самого человека.

Говоря о красоте имен, нельзя не вспомнить так называемой моды на имена. Эта мода напоминает поветрие в буквальном

смысле этого слова (разносится по ветру, из уст в уста) и вредит обществу. Модное имя *Елена* записано во Дворце «Малютка» 814 раз в течение одного 1972 года. Его дают девочкам подряд независимо от связи с отчеством и фамилией, невзирая на то, что в подъезде дома, где живут родители, есть уже 10—15 *Лен!* Последствия такого увлечения не нуждаются в обширных комментариях.

Надо, чтобы дети имели индивидуальные имена. Они могут и должны звать друг друга не по фамилии и прозвищам, а по именам. Если в детских коллективах по 5—6 детей с одинаковыми именами, это очень неудобно и для общения детей, и для работы воспитателей.

Когда ребенок станет взрослым, в школе, в вузе, на производстве — всюду его будут окружать люди с одними и теми же именами. Если нерядовое личное имя выделяет человека среди других людей, то одинаковые имена в какой-то степени стирают их индивидуальность. Многие имена выглядят красивыми и интересными именно благодаря своей нестандартности на однообразном фоне других имен. Поэтому мода на имена — явление, безусловно, вредное. И прежде чем остановиться на том или ином имени, родителям надо поинтересоваться, насколько оно распространено.

Некоторым родителям при выборе имени мешает его «значение», которому они необоснованно и подсознательно придают некий символический смысл. Например, выбирают имя *Анастасия*, узнают, что оно означает «воскресшая». Что это может значить для ребенка? Неясно, и имя бракуется. Имя *Ангелина* означает «вестница», а какая? И опять имя отклоняется.

Сопоставлять значение имен при выборе имени ребенку — занятие пустое и бесперспективное, если оно не связано с интересом к имени вообще. Знание перевода того или иного имени с языка-источника представляет интерес только в том смысле, что позволяет уяснить исторический путь имени от одного народа к другому. Ведь многие имена живут не одну тысячу лет. Для практического же именованья в наши дни оно не имеет никакого значения.

Кроме того, надо иметь в виду, что современное русское звучание имени не может совпадать со звучанием имени-первоисточника, которое одно и было связано со смысловыми словами того древнего языка, где оно когда-то возникло. И еще. Что может подсказать нашему современнику значение имени *Иван* — «бог благоволит», если известно, что это имя принадлежало *Ивану Петровичу Павлову*, *Ивану Владимировичу Мичурину* — деятелям отечественной науки, раскрывшим своими научными работами и опытами отнюдь не божественную суть явлений природы! Имя

Климент, означавшее в латинском языке «нисходящий», «кроткий», «тихий», принадлежало *Клименту Аркадьевичу Тимирязеву* и *Клименту Ефремовичу Ворошилову* — активным общественным, государственным, научным деятелям, отнюдь не нисходящим и не кротким в отношении к тому, что было несовместимо с их убеждениями.

Одного из читателей нашего журнала заинтересовал вопрос, как создаются наименования тканей. Узнав о том, что слово *лавсан* возникло в результате буквенного сокращения целого словосочетания — *Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук*, т. Алексеев В. С. попросил рассказать о происхождении и других наименований тканей.

КАК НАЗЫВАЮТ ТКАНИ

История слов, называющих ткани, довольно интересна. Если собрать хотя бы только по словарям современного русского литературного языка все слова, которыми назывались или называются ткани, то можно увидеть, что наряду с новыми наименованиями, такими как *лавсан*, *летилан*, *капрон* и под., в языке живут и старые — *полотно*, *сукно*, *бархат*. Много слов — наименований тканей ушло из языка, из современного активного употребления, хотя мы постоянно с ними встречаемся в произведениях художественной литературы прошлого. Например: *штоф*, *флер*, *кармазин*, *грезёт*, *сарпінка*, *фуляр*, *фильдепёрс*, *нансук*, *аксамит*, *барёж*, *драдедам*, *казинёт*, *канифас*, *люстрин*.

В наименованиях тканей можно проследить разные генетические пласты — исконные и заимствованные. К исконно русским словам относятся: *брань*, *дерюга*, *объярь*, *полотно*, *поскѣнина*, *сукно*, *суровьё*, *ткань* и др. Все очень старые по употреблению, эти слова интересны тем, что во многих из них обнаруживается «мотив» образования (как говорят лингвисты, у слов прозрачная внутренняя форма). Некоторые ткани получили свое имя по какому-нибудь яркому признаку (составу, цвету, особенности структуры) или по способу изготовления. Ткань *багрёц* получила название по цвету; *пестрядина* — грубая ткань, обычно двухцветная; *реднина* (*ряднина*, *рядно*) — редкий и толстый грубый холст; *выбойка* — ткань с выбитыми отпечатанными на ней узорами в одну краску; *набойка* — ткань с нанесенным на нее посредством особых досок узором.

Заемствованные наименования тканей также в основном старые; например, из французского языка: *ажур*; *вельвет*,

велюр, вуаль, габардин, гипюр, дамассе, драп, креп, кретон, маркизет, перкаль, поплин, ратин, репс, саржа, сатинет, тарлатан, трико, трикотаж, фэй, фетр, фланель, шифон, эпонж и др. Некоторые названия пришли через посредство французского из других языков: *вигошь* — из испанского (название животного из рода лам, а также шерсти этого животного); *кастор* — из греческого *kastōr* (бобр); *тафта* — из персидского; *муар* — из арабского. Имеется ряд английских заимствований: *коверкот, молескин, твин*; посредством английского пришло из бенгальского языка название *джут* (сначала название растения, а затем ткани).

Через посредство немецкого языка из арабского пришло название тонкого старинного сукна красного цвета *кармазин* (араб. *kermez* — червец, *kermasi* — ярко-красный). К заимствованиям из арабского относятся *атлас* и *бязь*; из персидского — *камка, миткаль, парча*; из греческого — *диагональ, зефир*; из китайского — *чесуча, фанза*.

В заимствованных названиях также можно определить «мотив» образования. Большая группа тканей носит географические имена: *Бостон* — город в США; *джерсе* и *джерси* — от названия острова у берегов Нормандии; *кашемир* — от названия области в Индии — Кашмир; *крепдешин* — франц. *stere de chine* (китайский креп); *мадаполам (мадеполам)* — от названия местечка Мадаполлам в Индии; *марокен* — от названия страны Марокко — первоначального места изготовления ткани; *муслин* — от названия города Мосула (*Mussolo*) в Ираке; *панاما* — от названия республики в Центральной Америке; *сарпінка* — по названию местности Сарепта Саратовской области; *тюль* — по названию французского города Тюль (*Tulle*); *шевиот* — по местности *Cheviot hills* в Шотландии, где разводят ценные породы овец.

В некоторых названиях увековечены личные имена, чаще всего изготовителей ткани. *Батист*, например, был назван в честь фламандского мастера Батиста, впервые ставшего выделывать эту ткань. Слово было заимствовано из французского языка в XVIII веке. *Гобелен* — декоративная ткань высокой художественной ценности, вырабатываемая ручным способом, изделие королевской мануфактуры, учрежденной в 1662 году в Париже, в квартале Гобеленов; это название ткань получила по фамилии красильщиков Гобеленов, работавших здесь в XV веке.

Наше время породило не только много слов, являющихся наименованиями тканей, но и некоторые новые общие тенденции их появления. В результате бурного развития химии

создается большое число синтетических тканей, что привело к значительному пополнению соответствующей группы слов: *нейлон, капрон, орлон, перлон, силон, дедерон, релон, лилион, стилон, грилон, велон, нитрон, дакрон, ланон, фторлон* (по существу именующие синтетические волокна, а по ним и ткань); *лавсан, летилан* и многие другие.

Эти новые наименования в отличие от старых слов являются аббревиатурами (сложносокращенными словами). Так, *дедерон* — DDR (Deutsche Demokratische Republik); *лавсан* — Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук; *летилан* — Ленинградский текстильный институт, Латвийская Академия наук. Названия синтетических волокон и тканей — фактически вторые их «имена». Есть еще наименования, отражающие химический состав синтетического волокна и ткани, но в общем обиходе они не употребляются и известны только специалистам, например: *капрон* — *капролактám*.

Данное обстоятельство в известной степени обусловило появление так называемых торговых наименований тканей. Это, например, названия по собственному женскому имени: *Варя, Зоя, Леся, Виридея, Людмила, Марџа, Аэлита, Софья, Лена, Иринушка*; по географическому имени: *Валдай, Домбай*; названия, отражающие важные и исторические события эпохи: *олимпийская, ВАР, КамАЗ, спутник*; романтические наименования: *зимний день, дымка, ручеек, полонез, дубравушка, эпоха, весна*.

Такие наименования красивы, но по ним трудно определить назначение ткани или какие-то другие особенности. Может быть, отчасти по этой причине стали появляться обобщенные наименования тканей, содержащие указание на их назначение: *платьевая, пальтовая, костюмная, брючная, сорочечная, плащевая, джинсовая* и подобные. Такое обобщенное наименование может включать различные ткани; например, и *драп*, и *габардин*, и *сукно* являются пальтовыми тканями.

Е. В. МОСЬКИНА

В будущем году, накануне Олимпиады-80 журнал познакомит своих подписчиков с историей тех мест, где будут проходить Олимпийские игры. Специальные статьи расскажут о московских названиях Лужники, Сокольники, Останкино и др.

ИЗ СЛОВАРЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

Продолжение. См.: 1976, №№ 1—6; 1977, №№ 2—6; 1978, №№ 1—4.

Патри. Отчество от уменьшительной формы Патра (Патря) из канонического мужского имени Патрикей, возможно и из Патрокл, Сисипатр, но эти имена у русских были редки. Фамилия была очень распространена в Ртищевской волости Пензенской губернии — 106 человек по переписи 1917 года (в 1897 году записана и в Калгачинской волости Онежского уезда).

Пашанин. Отчество от уменьшительной формы Пашаня из канонического мужского имени Павел через промежуточную краткую форму Паша.

Пегов. Отчество от прозвища или нецерковного имени Пегой (архаичная форма, как и *пегий*, это означает 'пестрый, пятнистый').

Пелевин. В основе фамилии — *пелева* 'мякина' (отходы при молотье зерна).

Перепечин. Отчество от прозвища Перепеча (из белорус., укр. и русск. диалектного *перепеча* 'лепешка, каравай').

Пермитин (ов). В основе именование отца по месту жительства — пермитин, то есть из пермской стороны. Фамилии на *-итин* характерны для Московского государства XV—XVI веков, они об-

разованы от названий городов: Боровитин, Веневитин, Вереитин, Костромитин и другие. Сын соответственно получал отчество с *-ов*, но так как *-ин* совпадало с окончанием многих отчеств (становившихся и фамилиями), то его нередко принимали за готовое оформление и обходились без *-ов*.

Перфилов, Перфильев. Отчества от форм Перфил и Перфилий от канонического мужского имени Порфирий. Замена второго *p* на *л* — регрессивная диссимилиация (расподобление одинаковых звуков, как февраль из латинского *februarius*).

Перхуров, Перхурьев. Отчества от форм Перхур и Перхурий из канонического мужского имени Порфирий. Замена *ф* на *х* отражала исконную чуждость звука *ф* древнерусскому языку (аналогично Хома вместо Фома). Интересно для исследователей появление *y*.

Пестерев. Отчество от прозвища Пестерь. Во многих говорах *пестерь* означало 'большая корзина', но вероятнее, что прозвище основано не на этом значении, а на производном — 'неповоротливый, глуповатый' (в онежских говорах 'глухой').

Петрищев. Наша читательница Петрищева предполагает, что её фамилия могла быть образована от имени Петр — большой Петр, как таракан — тараканище, дом — домище, пепел — пепелище». Но она не учла, что суффикс *-ищ(е)* выражает не только увеличение, а и указывает на место чего-либо, например: *городище* — не только 'большой город', а и 'следы бывшего города', топориче — не только 'большой топор', но и 'рукоять топора'. В прошлом было принято к именам всех «нижестоящих» прибавлять суффикс *-к(а)*, придававший имени уничижительное значение, а для священников использовали *-ищ(е)*, как — поп Иванище. Видимо, по этому принципу образовано имя Петрище, отчество от которого стало фамилией (как Иванищев, Павлищев, Федорищев и др.).

Петров. Отчество от имени Петр. Фамилия одна из 10 самых частых в России (на некоторых территориях до 6—7 человек на тысячу). От производных форм того же имени образованы многие десятки фамилий: Петин, Петрейкин, Петриков, Петрин, Петрищев, Петровых, Петрунин, Петрунькин, Петрухин, Петрушкин, Петрушев, Петрушенков, Петрыкин, Петрягин, Петряев, Петюнин, Петюшкин, Петяев, Петякин, Петяшин и мн. др. (не считая «косвенных» производных, как Петровичев, Петровский и т. д.), украинские Петренко, Петрюк и пр. Н. В. Бирило насчитал 236 белорусских форм имени Петр (Н. В. Бірыла. Беларуская антрапанімя, Мінск, 1966).

Петросов. Переоформленная преобладающим в русских фамилиях суффиксом *-ов-ар-*

мянская фамилия Петросян из Петрос с суффиксом *-ян(из -яну-)*, тождественная русской Петров.

Пехтерев. Во многих говорах *пехтерь* (другая форма того же слова *пестерь* — см. Пестереv) означает 'большая корзина, набитый мешок'. С этим значением связывает происхождение данной фамилии Б. О. Унбегаун, отнеся её к семантической группе: Корзинкин, Кузовков, Лукошкин и т. п. (B. Unbegaun. Russian surnames. Oxford, 1972). Но вероятнее всего связь фамилии с переносным значением слова *пехтерь (пестерь)* 'прожорливый; толстый ребенок'.

Пинаев. Отчество от прозвища или нецерковного имени Пинай, зафиксированного, например, во Владимире (1613 г.); имя — от глагола *пинать* 'толкать'.

Пинжаков. Фамилия едва ли имеет отношение к названию одежды *пинжак* (при литературном *пиджак*). По-видимому, она — отчество, образованное от названия реки Пинеги (приток Северной Двины): «Обитатели берегов Пинеги испокон веков называются пинжаками» (М. М. Пришвин. Северный лес).

Питин. Фамилия не имеет никакого отношения к глаголу *пить*. Она — отчество от краткой формы Питя из канонического мужского имени Питирим, которое не было частым и раньше, а к XIX веку почти совсем вышло из употребления.

Плеханов. Отчество от древнерусского нецерковного мужского имени Плехан из нарицательного *плехан* 'лысый'. В Суздальской Руси Плехан — языческое божество, пережитки его культа сохранялись несколько столетий, но все же

не до времени появления фамилий.

Плешков. Отчество от прозвища или нецерковного имени Плешко из *плешь* 'лысина'. В «Словаре древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тупикова приведены примеры: холоп Гридя Плешко 1477 г., дьячок Плешко 1495 г. и др.

Пнин. Фамилия русского поэта и публициста. И. П. Пнин (1773—1805) был «незаконным» сыном фельдмаршала Репнина, который дал ему свою фамилию в усеченном виде — без начального *Ре-*. В России второй половины XVIII века такие фамилии были нередки: Бецкий от Трубецкой, Агин от Елагин, Ранцов от Воронцова, Умянцев от Румянцев и т. д.

Подомарев. Отчество от искаженного именованья отца по должности: *подомарь* из *пономарь* — низший церковный чин (дьячок, псаломщик); см. Пономарев.

Подгаевский, Подгаецкий. Именованье по местности, из которой приехал человек с такой фамилией (На Украине: село Подгай в Ровенской обл., селение Подгайцы в Волын., Криворож., Львов., Ровен., Тернопол., Харьков. областях). В основе обоих топонимов — украин. *гай* 'роща, небольшой лес'.

Подколотин. Фамилия до сих пор не рассмотрена. Записана в Москве (1978 г.). Возможна этимология из *колозень* 'колода, пень' (В. И. Даль) и предлога *под*, то есть 'подколодный'.

Подхалюзин. В основе фамилии — диалектное *подхалюза* 'ловкий пройдоха, скрытный и лстыивый' (В. И. Даль). Фамилия использована А. Н. Островским в пьесе «Свои люди — сочтемся»: он дал

её приказчику, сугубшему втереться в доверие к купцу, которого потом обобрал до нитки. (Подробней об этом см.: В. А. Никонов. Имена персонажей.— «Поэтика и стилистика русской литературы», Л., 1971). Фамилия Подхалюзин не выдумана драматургом, а взята из жизни, в Москве она существует и сегодня.

Подъячев. Отчество от именованья отца по должности: *подъячий* — писец в канцеляриях XVII века.

Пожарский. Именованье по местности, из которой человек прибыл или которой владел. Селения с названием Пожар были не единичны, но именовались так не от частых пожаров (как предполагает Ю. А. Федосюк в словаре «Русские фамилии». М., 1972, в этом случае селение было бы названо Горелое, Погорелово и т. п.). Термины *жар* и *пожар* означали место, на котором выжжен лес для папшны, позже — *гарь*.

Покровский. Фамилия возникла в среде духовенства. Так именовали служащего церкви Покрова, названной по христианскому празднику — Покрова Богородицы, связанному с возникшей еще в Византии (911 г.) легендой о фантастическом видении юрдивому, повествующей о том, «как богородица сняла с головы своей пурпурный покров и раскинула его над молящимися в знак особой милости к людям». Во 2-й половине XIX в. фамилия могла возникнуть и из названий населенных мест — г. Покров, с. Покровское (топонимы также из названий церкви).

В. А. НИКОНОВ

Продолжение следует

«Пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча!»

Читателя А. П. Петрова из Краснодара интересует вопрос об употреблении некоторых оборотов речи у Н. А. Некрасова. В частности, его удивляют стихи «Пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча!» в поэме «Коробейники». Недоумение читателя вызвано ошибочным убеждением в том, что глагол *пожалеть* (несовершенный вид *жалеть*) подобно глаголу *любить* управляет только винительным падежом имени существительного (*пожалеть кого, что*). В действительности дело обстоит иначе. Для раскрытия своего смысла глаголы *жалеть* — *пожалеть* издавна требовали зависимой от них формы имени существительного в одном из трех падежей: винительном, предложном или родительном (ср. *жалеть* — *пожалеть кошку, о кошке, кошки*). Подтверждение этому можно найти в нормативных грамматиках и толковых словарях русского языка, а также в произведениях художественной литературы и в переписке. Так например, интересующая читателя форма имени в родительном падеже при глаголах *жалеть* — *пожалеть* встречается у Пушкина, как в переписке, так и в поэзии. В письме к Н. Н. Пушкиной от 2 сентября 1833 года читаем: «Они звали меня на вечер к Пашковым на дачу, я не поехал, *жалей своих усов*, которые только лишь оцетинились» (в этой цитате и в следующих курсив автора статьи). В «Сказке о царе Салтане» есть такие строки: «Чуду царь Салтан дивится — А царевич хоть и злится, Но *жалее* он очей Старой бабушки своей ...». Форму родительного падежа имени находим в произведении А. Ф. Писемского «Ветеран и новобранец»: «Десять лет, братец, именин своих не справлял: все *денег жалел*». Примеры подобного употребления в народной речи приведены в Словаре В. И. Даля: «*Пожалев копейки*, заплатишься рублем; жалеть вина, не видать (или не употчивать) гостей». Управление родительным падежом существительного в тексте «Коробейников» Некрасова

Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
*Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!*

не небрежность великого поэта, а один из примеров совершенного владения русским языком. Интересующая нас грамматическая форма употреблена автором в соответствии с нормой русского литературного языка. Добавим к этому, что литературная норма исторически изменчива. В наши дни конструкция *жалеть* — *пожалеть чего-либо* без отрицания безусловно нормативна лишь в значении 'беречь, неохотно расходовать'; *жалеть* — *пожалеть денег, средств*.

Есть и еще одна особенность в применении этой формы Некрасовым, которая связана с выбором из арсенала речевых средств именно формы *плеча*. Поскольку управление родительным падежом имени нередко, как мы видели, встречается и в народной речи, сочетание *пожалей молодецкого плеча* легко и естественно вписалось в текст художественного произведения, выполненного в народно-поэтической песенной манере. В речи героя поэмы — корабейника — это сочетание выступает в одном ряду с языковыми приметам и речевыми приемами, характерными для народно-поэтического стиля: разговорными и эмоционально окрашенными словами — *погожу, корбушка, зазубушка, ночка*; разнообразными лексическими повторами: *полна, полна; выди, выди; не торгуйся, не скупись* и т. п. Все это делает сочетание глагола *пожалеть* с родительным падежом имени одним из средств формирования стиля отрывка поэмы, ставшей впоследствии народной песней.

Другой вопрос А. П. Петрова связан со строкой «В лесу раздавался топор дровосека» из стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети». «Как может раздаваться топор?» — спрашивает читатель. *Топор*, конечно, *раздаваться* не может, раздается звук топора, когда топором рубят. Кстати, в предшествующей строке упомянуто: «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». Но слов, поясняющих смысл сочетания *раздавался топор*, могло и не быть в тексте. Восприятие явления речи, называемого метонимией, в основе которого лежит сближение двух предметов по какому-нибудь признаку, его понимание — возможны и без дополнительных разъяснений в тексте. Так, не нуждаются в толковании предложения типа «вчера я приобрел Чехова», «деревня уже спала» или «он выпил всю чашку». Каждому ясно, что *Чехова* здесь — значит 'книги или произведения писателя', *деревня* — 'люди, живущие в деревне', *чашку* — 'жидкость в чашке.' Метонимия (буквально *переименование*) — широко распространенное явление нашей речи. Оно встречается и в повседневном разговорном общении людей, как в упомянутых примерах, так и в языке радио- и телепередач, газет и журналов. Вот, например, заголовок статьи в еженедельнике «Новое время» (№ 7, 1978): «Внешняя политика Пекина вчера и сегодня» или фраза из той же статьи: «В последнее

время *Пекин* столь нетерпелив в стремлении к своей цели, что даже пытается шантажировать *Вашингтон*. В приведенных примерах слова *Пекин*, *Вашингтон*, то есть названия городов, употребляются вместо названий правительств соответствующих стран — Китая, США. Но особенно характерно метонимическое употребление слов для художественной речи: и для прозы, и для поэзии. Так, у Пушкина в повести «Выстрел» читаем: «...пробки хлопали поминутно, *стаканы* пенились и шипели беспрестанно...», а в известной песне на слова поэта М. Исаковского поется:

Снова замерло все до рассвета —
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно — на улице где-то
Одинокая бродит гармонь.

В художественной речи иносказательность слов, основанная на смежности обозначаемых явлений, играет эстетическую роль. Выбирая для названия явления какой-нибудь один его признак, писатель тем самым индивидуализирует это явление и показывает свое отношение к нему. Так, в отрывке из поэмы «Медный всадник»

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все *флаги* в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Пушкин не случайно говорит «все флаги» вместо «корабли всех государств» или «флоты всех государств». Флаг символизирует государственную принадлежность корабля, на нем изображена эмблема государства. Поэт выделяет тем самым признак государственности, поскольку думает и пишет о будущих международных связях России, о Петербурге, как «окне в Европу».

Выделение одного из признаков явления как средство индивидуальной характеристики самого явления лежит в основе известного метонимического сочетания в стихотворении Некрасова «Школьник»:

Скоро сам узнаешь в школе,
Как *архангельский мужик*
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

Называя Ломоносова *архангельским мужиком*, Некрасов указывает на крестьянское происхождение великого ученого и поэта. Выделение этой стороны в характеристике Ломоносова позволяет поэту сблизить героя стихотворения, крестьянского мальчика, с прославленным деятелем русской науки.

Н. Н. Иванова

«Кто старое помянет, тому глаз вон»

И. Я. Костина из Кустанайской области просит объяснить выражение *Кто старое помянет, тому глаз вон*.

Многочисленные пословицы и поговорки русского языка выражают разные понятия, например, месть и прощение. К числу первых относится пословица *Око за око, зуб за зуб*, к числу вторых — *Кто старое помянет, тому глаз вон*. Пословица *Око за око, зуб за зуб* призывает к мщению за причиненный ущерб, за нанесенное оскорбление: «Око за око, зуб за зуб» — она хотела отплатить тою же монетой, какой получила оскорбление...» (Куприн. Первый встречный); «С точки зрения моих убеждений — вы заслужили смерть. Думаю, вы сказали бы мне то же, если бы я был в ваших руках. Око за око и зуб за зуб!» (Лавренев. Рассказ о простой вещи). Известно, что данное выражение пришло из библейского текста, в котором оно звучало формулой возмездия: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать».

Однако в народе издавна бытовали и выражения, призывающие к всепрощению. В официальной речи при заключении мирного договора между князьями придерживались правила: *Задняго не помнить*, в повседневной жизни говорили: *Кто старое помянет, того черт на расправу потянет; Гневаться — человеческое, а злопаямствовать — дьявольское*.

Пословица *Кто старое помянет, тому глаз вон* запрещает не только мстить кому-либо за нанесенные обиды, доставленные неприятности, но даже напоминать о них. Она употребляется главным образом в разговорной речи: «— Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон» (Чехов. Палата № 6); «Кто старое помянет, тому глаз вон, — сказала она: — тем более что, говоря по совести, и я согрешила тогда... Одно слово: будемте же приятелями по-прежнему» (Тургенев. Отцы и дети). Смысл пословицы не меняется и в том слу-

чае, если она употребляется в ином виде: могут заменяться, недоговариваться отдельные слова. Так, например, вместо *старый* нередко говорят *прошлый*, *давний*; вместо *вон* — *долой*, *прочь*; вместо *помянуть* — *вспоминать*, *напомянуть*, *припомянуть*. Например, «— Эх, Василиса! кто прошлое помянет, тому глаз вон. Не правда ли? Ведь ты на меня не сердись, не правда ли?» (Тургенев. Петушков).

Интересно отметить, что при образовании пословицы *Кто старое помянет, тому глаз вон* было использовано слово *глаз*, а не *око*. Это свидетельствует о позднем ее происхождении. Слово *око* (во множественном числе *очи*, *очеса*) является устаревшим, но сохраняется в народно-поэтической речи, в некоторых пословицах и поговорках, фразеологических выражениях, используется порой писателями для придания тексту определенного колорита.

В. Н. Сергеев



ВАЛЕНКИ

А. И. Ласкарёв из Приморска (Ленинградская область) интересуется историей слова *валенки*. «Слово *валенки*, по-моему, происходит не от глагола *валить*, — шипит он, — а от существительного *валёк*».

Первая фиксация слова *валенки* (ед. ч. *валенок*) относится к XVIII веку. Словарь Академии Российской (СПб., 1789) дает следующее определение данного слова: «Зимняя простым народом употребляемая обувь, сваленная из овечьей шерсти так плотно, как шляпа».

Слово *валенки* (ед. ч. *валенок*) представляет собой собственно русское суффиксальное образование по непродуктивной модели: *белый* → *белок*, *желтый* → *желток*, по которой образуются существительные со значением «носитель признака» (см.: Грамматика современного русского литературного языка. 1970, § 152). Это слово

образовано от отглагольного прилагательного *валеный*, восходящего к страдательному причастию прошедшего времени *валеный* (*валяный*), с помощью суффикса *-ок/-к*.

Вот как представлено слово в словаре В. И. Даля: «*Валенцы* мн. *тер. тмб. валену́жи орл. валежки нвг. вáлены, вáленки ниж. кáтанки, теплая обувь, теплый или валеный товар; валяная, кошменная, войлочная обувь из овечьей шерсти; валяется мягкой, под другую обувь, или твердую, вместо зимних сапогов, котами, полусапожками, сапогами...».*

Слово *валенки* сначала употреблялось в русском языке для обозначения *валяной обуви без голенищ*, то есть такой обуви, которая была больше похожа на галоши, чем на сапоги. Затем менее удобные в носке *валенки* (без голенищ) были «дополнены» голенищами. Причем, вначале валенок и голенище валялись отдельно друг от друга, а затем сшивались. Такая валяная обувь с пришитыми голенищами называлась *сапогами* или *валенками с пришитыми голенищами*. Возможно, о ней говорится в поговорке: «В сапогах не в сапогах, а голенище на ногах». Позже стали валять цельные сапоги: валенок и голенище валялись вместе. Цельные сапоги стали называться *сапогами*, *валяными сапогами* и *валенками*.

В начале XX века были распространены так называемые «писаные» валенки, которые делались из белой шерсти и украшались цветным «ягодным» узором или узором «пятнышками». Эти узоры обычно вышивались на полуфабрикате нитками красного и черного цвета.

Многочисленные примеры, взятые нами из литературы разных лет по сапоговаляльному производству, показывают, что все эти три названия цельного валяного сапога — *сапоги*, *валяные сапоги* и *валенки* — находятся в речевом обиходе у специалистов. Причем слово *сапоги* как с определением *валяные*, так и без него, употребляется в литературе по сапоговаляльному производству значительно чаще, чем слово *валенки*. Приведем лишь некоторые примеры: «Валеный готовый сапог (здесь и далее разрядка наша.— С. Д.) черный клеймится белыми, а серый или цветной — черной или другой краской» (В. А. Бебешин, Г. И. Вязов, Г. Д. Поляков. Сапоговаляльное производство); «При производстве валенок требуется очень большое количество тепла» (там же); «Образование первоначальной формы валяного сапога называется в сапоговаляльном производстве закладкой сапога» (Г. И. Вязов и В. А. Бебешин. Сапоговаляльное производство); «Московской фабрикой валяной обуви разработан новый вид валяной обуви — Сапоги валяные с ворсом „Русские“...»

(А. И. Хвостова, Л. В. Туркова. Основные направления технического прогресса валяльно-войлочной промышленности).

Однако в художественной литературе, в периодической печати и в разговорной речи употребляется, как правило, только слово *валенки*: «Он наклонился к большой любительской фотографии, где мы с ним стояли оба в тулупчиках и валенках...» (Л. Касиль. *Ход белой королевы*); «Летом духота, способная довести до обморочного состояния... зимой — холод, заставляющий работать в верхней одежде, носить валенки» («Литературная газета», 21 января 1976).

С. Н. Дмитренко

Как правильно употреблять отдельные слова и выражения? Как следует ставить ударение в том или ином слове? Какого происхождения в русском литературном языке выражение так держать? Откуда в русских сказках появились, например, Баба-Яга или Кощей-Бессмертный? На эти и на многие другие вопросы, интересующие читателей, можно будет получить ответы на страницах журнала «Русская речь» в 1979 году.

При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна

Редакционная коллегия:

Н. С. ВАЛГИНА, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, К. В. ГОРШКОВА, В. П. ДАНИЛЕНКО, И. Г. ДОБРОДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ю. С. СОРОКИН, Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Ф. П. ФИЛИН

И. о. зав. редакцией С. Т. Парсаданян
Художественный редактор Т. А. Михайлова
Корректоры В. В. Беляев, Г. Н. Шамина

Сдано в набор 12.06.78. Подписано к печати 23.08.78. Т-10766
Формат бумаги 84×108/32 Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4 Уч.-изд. л. 10,4
Бум. л. 2,5 Тираж 80000 Заказ 605
Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10

Цена 50 коп.

Индекс 70788

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж просто все — простор везде. —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Ф. И. Тютчев

РУССКАЯ РЕЧЬ

5, 1978



ИЗДАТЕЛЬСТВО

«НАУКА»